



А. Н. ПЫПИН

**Очерки общественного движения
при Александре I**

**IV. КАРАМЗИН.
ЗАПИСКА «О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ»**

Начиная говорить о Карамзине, мы невольно вспоминаем слова, сказанные о нем Белинским:¹

«...Вот имя, — говорил Белинский, — за которое было дано столько кровавых битв, произошло столько отчаянных схваток, переломлено столько копий! И давно ли еще умолкли эти бранные вопли, этот звук оружий?.. И теперь, на могиле незабвенного мужа, разве уже решена победа, разве восторжествовала та или другая сторона? Увы! Еще нет! С одной стороны, нас, “как верных сынов отчизны”, призывают “молиться на могиле Карамзина” и “шептать его святое имя”; а с другой — слушают это воззвание с недоверчивой и насмешливой улыбкой. Любопытное зрелище! Борьба двух поколений, непонимающих друг друга!..

«Карамзин... *mais je reviens toujours à mes moutons...*», — продолжает Белинский. — Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о литературе и усовершенствованию вкуса? Литературное идолопоклонство! Дети, мы еще всё молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа, и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать! Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчаствующих обществ... Да — много, слишком много нужно у нас бескорыстной любви к истине и силы характера, чтобы посягнуть даже на какой-нибудь авторитетик, не только, что авторитет: разве при-

* но я возвращаюсь опять к моим баранам (*фр.*).

ятно вам будет, когда вас во всеуслышание ославят ненавистником отечества, завистником таланта, бездушным зоилом... И кто же? Люди, почти безграмотные, невежды, ожесточенные против успехов ума, упрямо держащиеся за свою раковинную скорлупку, когда все вокруг них идет, бежит, летит! И не правы ли они в сем случае? Чего остается им ожидать для себя, когда они слышат, что Карамзин не художник, не гений и другие подобные безбожные мнения?» *

Прошло почти сорок лет с тех пор, как были написаны эти слова, и они остаются однако в общем смысле верны. До сих пор, если заходит речь о Карамзине, он вызывает весьма различные мнения: с одной стороны, нас, «верных сынов отчины», все еще приглашают «шептать святое имя», с другой — точно так же слушают эти призывы недоверчиво и насмешливо. Борьба поколений продолжается; они все еще не понимают друг друга.

Это довольно понятно. Карамзин был в литературе одним из крупных людей, и борьба мнений литературных и общественных естественно захватывала и Карамзина, который был в свое время представителем целого направления. Но спор о значении Карамзина ведется уже с других точек зрения, чем в те времена, о которых говорил Белинский. Теперь не спорят о «старом» и «новом слоге», о красотах «Бедной Лизы», о научном достоинстве «Истории Государства Российского», о которых спорили при появлении сочинений Карамзина и еще не кончили спорить, когда начал писать Белинский. Чисто литературная сторона дела отступает на второй план: она разъяснена или потеряла интерес; взамен ее критика старается определить общее содержание понятий Карамзина, в особенности его общественные понятия, в которых, конечно, всего яснее окажется его историческое значение, как деятеля общественной жизни.

Современники восхищались в сочинениях Карамзина новым легким стилем, трогались его сантиментальностью, которая — худо ли, хорошо ли — сообщала или делала им доступными известные гуманные идеи, но не думали доискиваться глубоких корней образа мыслей; крайняя партия литературных староверов восстала было против нововведений его в языке и предполагавшегося французского вольнодумства, — но ее нападения уже вскоре оказались неосновательными; в «Истории» современники изумлялись потом произведению действительно еще невиданному, его ученым и литературным достоинствам, но

* Соч. I. 60—62. Писано в 1834 году.

опять мало отдавали себе отчет в целом ее направлении *. Только немногие представители новой школы, как увидим после, прилагали к ней тогда эту более широкую критику. Большинство восхищалось безусловно и не мудрствуя лукаво. В первом периоде деятельности Карамзина, до выхода в свет «Истории», этого вопроса об его общественном направлении и вовсе не было: во-первых, оно не достаточно сильно высказывалось в печатных сочинениях; во-вторых, и публика еще мало задавалась этими вопросами, и разве только упомянутые староверы заподозревали Карамзина в вольнодумстве.

Любопытно в самом деле, что то сочинение Карамзина, в котором всего ярче выразились его общественные понятия и где он непосредственно говорит о внутренних политических вопросах своего времени, осталось — точно так же, как изложенный нами план Сперанского, — по-видимому, совершенно неизвестно современникам. Два эти произведения, представляющие собой два противоположные полюса тогдашних понятий и выражавшие их наиболее ясным и открытым образом, остались для публики секретом, столь великим, что действие его длится и до нашего времени. «План» Сперанского и записка «О древней и новой России» до сей поры не были, т. е. *не могли* быть напечатаны в России, как ни странно в особенности относительно сочинения Карамзина **. Оба произведения, как нарочно, писаны

* В письме об «Истории» Карамзина Сперанский, который должен был хорошо ее понимать, считает, что тогда не время (т. е. бесполезно) было бы доискиваться этого. Он очень хвалит книгу и замечает только: «Есть точка зрения, с коей можно *совсем иначе* и, может быть, *справедливее* смотреть на нашу историю и написать ее, но сей вид должно *предоставить потомству* и будущим томам» (Р<усский> Арх<ив>. 1869. С. 920). Это писано было в марте 1818. Понятно, что и в «будущих томах» Карамзин не мог дойти до точки зрения, о которой говорил Сперанский.

** Понятно из этого, что мы все еще должны считать «Записку» Карамзина не вполне известной. Отрывки ее в первый раз напечатаны были в «Современнике» (1837. Т. V. С. 89—112); потом, несколько полнее, в Эйнерлинговом издании «Истории госуд. Росс.» (Ш. С. XXXIX—XLVII). Затем содержание ее изложено было в статье г. Лонгинова о Сперанском (Р<усский> Вестн<ик>. 1859. № 20. С. 535—547), и отдельные части приведены в «Жизни Сперанского» бар. Корфа (1861). Рукопись «Записки», хранящаяся в П<убличной> Библиотеке, вероятно, не закрыта для желающих ознакомиться с нею; наконец, иным, вероятно, известно заграничное издание ее (хотя не безошибочное): «О древней и новой России» и проч. (вместе с запиской о Польше, 1819). Берлин: Шнейдер,

были в одно и то же время (1810—1811); авторы защищали два совершенно различные взгляда, и таким образом, сражаясь между собою, оба не знали один о другом. Оба автора одинаково не имели в виду других читателей, кроме императора. Только здесь, в этом центре, сходились принципы, выражавшие собой стремления общества, одни — зарождавшиеся, другие — господствовавшие в житейской рутине.

Эта внешняя судьба двух поколений очень характеристична. Общественному мнению, до тех пор совершенно безгласному и едва существовавшему каким-то темным образом, только что дана была первая возможность высказаться, столь ограниченная, что выслушал его только один император. Люди, которые представляли собой две стороны общественного мнения, оба были люди замечательные, каждый в своей сфере, а потому их мнения особенно исключали одно другое. Естественно, что если бы поставленные ими вопросы были хоть до некоторой степени доступны для взаимной критики обеих сторон, эти вопросы нашли бы себе какое-нибудь разъяснение. Но этого не случилось: вся практика жизни не допускала еще ничего подобного. Император Александр хотел один быть решителем основного вопроса общества и народа — и порешил его: все время своего правления он колебался между двумя дорогами — и не мог одолеть задачи. Между тем задача действительно стояла; высказавшиеся мнения представляли собой два направления, действительно существовавшие в обществе, и нерешенный вопрос стала разъяснять сама жизнь — тем сложным и трудным процессом, которым она наперекор препятствиям достигает своих целей.

Теперь гораздо яснее обнаруживается общественное значение Карамзина, чем то было для современных ему критиков. С одной стороны, становятся известны материалы, исторически характеризующие его личность и для него неизвестные; с другой — понятия, которые он защищал, имели свою историю в дальнейшем общественном движении. Борьба понятий, которая шла в его время, правда, и теперь не кончилась, но с той поры она уже прошла несколько периодов, и сама история дала нам ясно видеть, к чему вела точка зрения Карамзина и к чему действительно она приводит в настоящее время, — что значили собственно его идеи и кто поклонник этих идей в настоящую минуту.

1861. 160 с. Но у нас до сих пор нет целого издания, доступного для всех. Прибавим еще, что значительная часть ее во французском переводе помещена в книге г. Тургенева, «La Russie et les Russes» (также с запиской о Польше) (Т. I. С. 469—517).

Между прочим, это отчасти высказалось в недавно отпразднованном юбилее рождения Карамзина (1 декабря 1866)². Юбилейная литература, в особенности расплывшаяся у нас в последнее время, отличается известными свойствами, которые делают нашу юбилейную историю особенно сомнительной. По нашим нравам у нас вообще возможны были юбилеи только одни консервативно-нравоучительные — таков же вышел и юбилей Карамзина. Пересматривая довольно многочисленную литературу, им вызванную, нельзя не заметить в ней самую положительную тенденциозность, охранительного свойства, везде, где только эта литература касалась вопросов общественных. Чего говорить, что все это были панегирики, редко умеренные, но большей частью неумеренные. В Карамзине восхваляли не только его действительные заслуги в свое время, но и выставляли его как прямой образец в настоящем; нам не только изображали его *историческое* значение, но опять нас приглашали «как верных сынов отчизны» — «шептать святое имя», выводили из Карамзина мораль для настоящей минуты и в довершение всего извлекли из Карамзина даже аргументы в пользу консервативно-крепостнических тенденций, особенно разыгравшихся ко времени этого юбилея.

Понятно, что статья в ту пору (пожалуй, и теперь) против этого потока юбилейных панегириков Карамзину значило бы, как сорок лет тому назад, прослыть «ненавистником отечества», «бездушным зоилом» и т. п. Люди, иначе смотревшие на предмет, как сорок лет тому назад, слушали юбилейные панегирики с той же «недоверчивой и насмешливой улыбкой», но их мнения и не высказались в эту пору, потому между прочим, что последние годы закрыли печать для целых направлений, существовавших в литературе.

Таким образом, давнишний спор о значении Карамзина, в нынешнем литературном периоде, даже не был веден, как он велся прежде: высказывалась одна только сторона...

По цели наших очерков, мы не входим в цельную оценку значения Карамзина; мы коснемся только некоторых спорных пунктов в определении его характера и воззрений как общественного писателя, преимущественно в описываемое время, до 1812 года, в эпоху записки «О древней и новой России». Мы заметили выше, что общественные тенденции Карамзина нашли свой отголосок даже в известных направлениях нынешнего времени, и потому нам нужно будет коснуться и упомянутых современных мнений, высказавшихся в юбилейной литературе. Эта литература иногда как будто прямо возвращает нас к деся-

тым и двадцатым годам, — начиная с громоздкой компиляции г. Погодина «Н. М. Карамзин» (2 ч. М., 1866), собирающей старательно все, что могло служить для большого обогащения панегирика, и как будто даже приноровленной *ad usum Delphini* *. Часто не соглашаясь вообще с ходячими мнениями о Карамзине, мы по необходимости, вместо простого изложения нашего взгляда, должны были и указывать эти мнения и обращаться к самым сочинениям Карамзина, — чтобы дать нашим словам наглядную доказательность.

Рано начавши свою литературную деятельность, Карамзин очень скоро приобрел заметное место в литературе. Одаренный от природы, он рано начал умственную жизнь и успел приобрести много сведений, преимущественно литературных, которые — особенно при тогдашнем уровне просвещения — делали его одним из образованнейших людей его поколения. Карамзин много читал еще дома, много приобрел от профессора Шадена³, у которого он учился, еще больше, быть может, приобрел в Дружеском Обществе⁴, где нашел в Петрове товарища, которого ум и характер он высоко ценил и авторитет которого, кажется, охотно признавал во многих случаях. Их переписка открывает нам маленькую перспективу в умственную деятельность этого странного круга, где сектаторски упрямый мистицизм старых масонов соединялся с ревностными заботами о распространении образования и литературных вкусов в полуграмотной публике, и подавал руку молодым поколениям, которые должны были продолжать эти заботы. Мы говорили в другом месте о том, какое странное соединение разноречащих элементов представляли эти люди, у которых чистые порывы к общественному благу своим нравственным достоинством далеко превышали достоинство тех умственных средств и круга понятий, какими они владели. Люди нового поколения, как Петров и Карамзин, проходили уже иную, более прочную школу, чем их предше-

* для пользования дофина (*лат.*). «Так называлось составление при короле Людовике XIV Боссюе (Bossuet) и Гюэ (Huet) для дофина (наследника французского престола) собрания сочинений античных классиков, в котором были исключены или вынесены в приложение все предосудительные с воспитательной точки зрения места. Впоследствии так стали называть вообще издания с исправлениями авторского текста по цензурным мотивам» (Словарь латинских крылатых слов. М., 1986. С. 379). — *Ред.*

ственники; степень образования была выше, но общий тон Дружеского Общества отражался в них, вероятно, глубже, чем обыкновенно думают. Не говоря о разных внешних приметах, которые носят масонский характер, напр., что в письмах Петрова не раз упоминается «Иоаннов день» (масонский праздник), как исключительная эпоха, что у Карамзина был свой масонский псевдоним⁵, по-видимому, вообще тогда употребительный в их дружеском кругу, что друзья Карамзина, Петров и Кутузов, были, особенно последний, близкими доверенными людьми старшего масонского кружка*, — не говоря о всем этом, в тогдашнем настроении Карамзина, как оно выразилось в его переписке того времени, в самых «Письмах русского путешественника», отразился мистический тон кружка, а притом не в виде преходящего настроения, как обыкновенно думают, а более глубоким и действительным образом.

Обыкновенно полагают, что когда, перед поездкой за границу, Карамзин расстался с кружком старших масонов, заявив свое несогласие с некоторыми их воззрениями и обычаями, то он уже вступил на иную дорогу. Это не вполне так. Карамзин действительно отказался от крайностей розенкрейцерской школы, и мог это сделать по разным основаниям: более свежее образование помогло развиться в нем здравому смыслу и внушило ему недоверие к апокрифической таинственности, масонско-алхимическим костюмам и обрядам; сравнительно короткое пребывание в этом обществе могло не дать ему настолько сродниться с его учреждениями, чтобы сделать такое удаление особенно трудным; быть может, другие посторонние влияния и соображения внушали ему и некоторую осторожность (в своих письмах и в самой книге он не один раз высказывает, в очень темных выражениях, какую-то тяжелую свою заботу, — быть может, она исходила из опасений за кружок и за самого себя). Но при всем том, несмотря на внешнее разъединение, несмотря на действительную неохоту к алхимическим волшебствам, влияния мистицизма остались в нем, одевшись в иную форму. В розенкрейцерстве, как в мартинизме, было, среди всех странностей, известное идеалистическое воззрение на природу. Наши масоны, как известно, ушли не далеко в степенях своего ордена, в практической алхимии и магии, и как сами они, так в особенности их младшие друзья должны были ограничиваться только

* Кутузов был агентом московского общества у берлинских розенкрейцеров; Петрову, кажется, готовилась масонская миссия в провинции.

самыми общими представлениями о могуществе природы, об ее таинственных отношениях к человеку. В нравственных понятиях они были мистические пиеэтисты и филантропы; их возбужденное чувство переходило границы спокойных ощущений, оно легко становилось пафосом, аскетизмом, а также — меланхолией или сентиментальностью.

Следы этого хода понятий и настроения чувства мы найдем и в Карамзине. Панегиристы вообще стараются приписать развитие Карамзина его личным силам, и то новое, что с ним входило в литературу, сделать его исключительной заслугой. Но, отдав его личному дарованию всю справедливость, не следует преувеличивать дела. Например, панегиристы удивляются обширным сведениям Карамзина, его большому знакомству с литературой, удивляются его необыкновенной оценке Шекспира*, что в 1787 году Карамзин «выразил верное мнение о великом английском трагике, о котором тогда не только в России, но и вообще в Европе господствовали очень смутные понятия». Будто бы? Панегирист забыл или не знал, что «Литературные Письма», где Лессинг⁶ начал свою знаменитую литературную борьбу против классицизма, вышли в свет, когда Карамзина еще не было на свете, а «Гамбургская Драматургия»⁷, где уже был вполне развит его взгляд на Шекспира, вышла, когда Карамзину было два года. Карамзинская оценка Шекспира была только отголоском идей Лессинга — не более.

Карамзин действительно стоял выше массы своих современников по образованию, но его средства в этом отношении не были созданы только им самим, и не были так глубоки, как обыкновенно полагают. К сожалению, до сих пор мало разъяснен характер кружка, в котором жил Карамзин в первые годы молодости, но в нем очевидно умственные средства были несравненно выше, чем у старшего литературного поколения. Сохранившиеся письма Петрова показывают, что у него эти средства были едва ли не значительнее, чем у его друга; мы ничего не знаем о Кутузове, но дружба его с Радищевым достаточно показывает, что это не мог быть только ограниченный мистик; поэт Ленц⁸, которого судьба занесла в Москву, был живым представителем немецкой литературы того времени и, вероятно, много помог своим московским друзьям познакомиться с нею; Дружеское Общество, по-видимому, следило за явлениями

* Погод. I, 57, — хотя в других местах (напр. I, 37) проводятся указания, по которым дело объясняется проще. Том V. — Сентябрь, 1870.

немецкой литературы, которая давала пищу для его изданий и для его масонских целей. Знакомство с немецким литературным движением, которое обнаруживается в «Письмах русского путешественника», нередко, вероятно, идет из этого источника: Карамзин знает полемику Николая⁹ по поводу иезуитства и крипто-католицизма, знает гоф-проповедника Штарка¹⁰ и питает к нему уважение, знает Морица, автора «Антон Райзера»¹¹, ему известны похождения масонского шарлатана Шрепфера¹², он еще в Москве преклоняется перед Лафатером¹³ и т. п. С одной стороны, эти вещи лежали в пределах масонского горизонта и масонского интереса; с другой, Карамзин не обнаруживает особенно глубокого знакомства с теми вещами, которые лежали вне этого горизонта (исключая разве только чисто литературные предметы). Далее, в молодом кружке еще могли сохраняться следы преподавания Шварца¹⁴, у которого масонская мистика и «орденская» деятельность соединялись с известным ученым образованием, как это видно по его лекциям.

Карамзин, при помощи этих источников, мог ознакомиться с главнейшими явлениями тогдашней литературы, главным образом немецкой, а также французской и английской, — без особых гениальных усилий, какие ему приписывают. Об этом можно судить по тому, как он пользовался своими средствами.

Карамзин до большей степени остается на том уровне идей, который давала масонская мистика. Новый слой образования видоизменил эту основу, удаливши ее крайности, в особенности ее алхимический костюм; поэтические элементы расширили, уяснили и облагородили это содержание, но затем на его взглядах остался отпечаток какой-то вялости общих воззрений, где сомнение никогда не дорастало до освежающего сильного скептицизма, а гуманные идеи останавливались на степени какой-то расслабленной чувствительности, которая доходила до приторности на словах, и могла, однако, совсем отсутствовать на деле.

«Письма русского путешественника», где в первый раз Карамзин выразился и приобрел популярность как писатель, были, конечно, важным явлением в русской литературе; но эта важность была очень относительная. Заслуга Карамзина с чисто внешней стороны, в преобразовании языка, в улучшении форм, не подлежит спору; но содержание, какое он давал, стоит, конечно, ниже тех восхвалений, какие расточали ему старые и новые поклонники.

Его взгляды, в отвлеченных предметах, были еще в той мистической сфере, в которой витала масонская школа. Его зани-

мают вопросы: «кто я, что я, откуда я»? и т. д., вопросы, совершенно естественные в человеке, которого интересуют высшие вопросы жизни, — но у него не было энергии мысли, которая бы приводила его к ясной постановке их. Его внутренние сомнения выражались и ограничивались мистической чувствительностью и меланхолией; в сущности, это черта осталась за ним навсегда: «меланхолические припадки», на которые он сам жаловался, со временем из острых сделались хроническими, и наложили отпечаток на весь характер его понятий. В старшем поколении это брожение мысли у многих кончилось, как известно, настоящим религиозным квиетизмом¹⁵; нечто, похожее на квиетизм нравственный, мало-помалу развилось в Карамзине. Мы увидим дальше образчики этого настроения. В литературе он останавливается всего больше на том, что питает эту бесплодную сантиментальность; гораздо меньше действует на него то, в чем обнаруживалась прямая литературная и общественная борьба, где ставились положительные вопросы философии и решались споры действительной жизни. Он был хорошо подготовлен к путешествию, — говорят о нем, — его начитанность открывала перед ним возможность воспринять все, что было сделано лучшего европейской мыслью. Действительно, он знает многое, он стремится видеть знаменитости немецкой литературы, знакомится и со многими второстепенными деятелями; слава Канта, Гердера, Виланда, Гете наполняет его великим почтением к ним; он очень любознателен; он спешит извлечь из счастливых встреч, что нужно ему для решения его недоумений, поверяет эти последние и Канту, и Виланду¹⁶ и т. д.; по-видимому, он наблюдательно и серьезно вникает в то, что слышит, — и что же в результате? В результате, к сожалению, очень немного, — например, в результате для Карамзина что Кант, что Лафатер — все равно, или нет, Лафатер несравненно интереснее. Вкусы бывают различны, и Карамзин имел полное право предпочитать Лафатера кому угодно, но когда он сам говорит, что он искал решения вопросов о натуре и человечестве, когда потом его последователи и поклонники превозносят его, как олицетворение мудрости, мы вправе также удивиться нетребовательности философа, который, насказавши комплиментов Канту, пошел поучаться изречениями, записочками и манускриптами Лафатера. Кармазин был тогда еще молод, но молодость именно и бывает богата одушевлением к возвышенным идеалам и стремлениям, к решению своих сомнений широкими и смелыми теориями. Кант был известен Карамзину, *der alles*

zermalmente Kant*, как повторяет он эпитет, данный Канту Мендельсоном¹⁷; но тем не менее он ищет откровения у Лафатера и глубоких объяснений «натуры» у Боннета¹⁸.

Надо прочесть «Письма», чтобы видеть, каким удивлением проникнут был Карамзин к Лафатеру. Карамзин упоминает об одном сочинении, которое Лафатер разрешил открыть только через пятьдесят лет, и завидует девятнадцатому столетию: «Девятнадцатый век! сколько в тебе откроется такого, что теперь почитается тайною!» И надо вспомнить, что такое был Лафатер, чтобы понять, какое умственное действие могли производить его личность и его сочинения**. Человек, конечно, с талантом, и всего больше с чрезвычайно возбужденным воображением, Лафатер представлял собой странную нравственную смесь: в одно и то же время последователь Руссо¹⁹ и Сен-Мартена²⁰, он соединял республиканскую любовь к свободе с самым темным мистицизмом, искреннее благочестие с натянутыми и насильственными экстазами, чисто средневековое суеверие с идеалистическими фразами, теплое чувство переходило в фальшивую сантиментальность, и ум слишком часто переставал действовать в самых диких фантазиях. Его знаменитая «Физиогномика», которую он выдавал за «науку», была пародией на нее, как это уже тогда доказывал Лихтенберг²¹.

Он писал множество, имел огромную массу почитателей между людьми, у которых воображение преобладало над здравым смыслом и недостаток серьезных сведений был причиной крайнего легковерия. Лафатер не был именно такой шарлатан, как Калиостро, но в нем были черты, по которым он вовсе не годился и в пророки, каким хотели его видеть поклонники. Его собственное самообольщение доходило до размеров, не внушавших уважения, например, тогда, когда он сам преклонялся перед Калиостро. Удивление Карамзина перед Лафатером дает

* все сокрушающий Кант (нем.).

** Об Лафатере есть значительная литература; между прочим любопытную характеристику дает Шлоссер (Ист<ория> Восем<надцатого> Стол<етия>, новое изд. II. 439—446; IV. 161—175 и др.). Из старых книг очень интересно сочинение, написанное Мирабо, или ему приписанное. В немецком переводе оно называется «Schreiben des Grafen von Mirabeau an***, die Herren von Cagliostro und Lavater betreffend» (Berlin und Libau, 1786). Эту книжку уже мог бы знать Карамзин, как мог бы вообще знать сочинения противников Лафатера и, напр<имер>, в особенности уничтожающую критику и сатиру Лихтенберга. — О Боннете там же у Шлоссера: II, с. 441—442.

нам чрезвычайно характеристичный образчик его собственного настроения. Этот хаос республиканства, мистицизма, сентиментальности увлекал Карамзина, потому что в нем самом бродили все эти элементы и подобная неурядица была в его собственных мыслях и ощущениях. При всем том увлечение Карамзина остается очень странным. Карамзин был свободен от тех обстоятельств, какие создавали влияние Лафатера в немецком обществе; он был человек другой жизни и, в первый раз знакомясь с Лафатером, мог уже иметь в руках достаточно средств понять эту личность и ее характер. Полемика Лафатера с его противниками, с которой нетрудно было познакомиться Карамзину, могла открыть ему глаза.

Но он с сентиментальной точки зрения не верил критике, и, напр<имер>, удивлялся нетерпимости Николая²² к его противникам. «Тот есть для меня истинный философ, — говорил Карамзин, — кто *со всеми может ужиться* в мире, кто любит и несогласных с его образом мыслей»²³. Прекрасная максима, без сомнения, но трудно исполнимая на практике; мы увидим дальше, как он сам в других случаях исполнял ее. Желательно, конечно, чтобы в литературной борьбе господствовала терпимость, но «со всеми ужиться в мире» можно было разве только в литературе, где не о чем было и спорить, или когда ни одна мысль не принимается серьезно и не влечет за собой никаких результатов. Если такое правило Карамзин мог применять к тогдашней русской литературе, то немецкая литература того времени и неприятная Карамзину полемика Николая уже захватывали действительные спорные пункты общественной жизни; дело шло о вещах более серьезных, чем полагал Карамзин; нетерпимость была очень мудрена, потому что и борьба «просветителей», между прочим, направлялась против тупого обскурантизма, который являлся и в образе самого Лафатера. Аркадская точка зрения была невозможна.

С чувствительной точки зрения вещи получали, таким образом, свою особую окраску, в сущности дававшую им совершенно фальшивый вид. Из указанных примеров читатель может видеть, какая неясность господствовала в философских и литературных воззрениях Карамзина. То же самое было и в его понятиях о политической и общественной жизни, — та же поверхностная чувствительность, и то же отсутствие последовательной критической мысли, погоня за красивыми словами и крайнее противоречие их с непосредственным пониманием действительности.

Карамзин был великим поклонником Руссо. Ему казалось, что здесь он находит то же родственное ему содержание, какое он отыскивал у сантиментальных поэтов периода *Sturm und Drang* *²⁴, у Томсона, у мистических поклонников «натуры», у Лафатера и Боннета; и точно так же, как он не отличал философии Канта от философии Лафатера, так здесь мало чувствовал, какой глубокий протест против существующего порядка вещей скрывался в мечтах Руссо, и находил в них только «сладкую чувствительность». В то время уже ясно увидели, что значила та французская литература, к которой принадлежал Руссо; это слышал и Карамзин, но тем не менее он остается как будто в неведении относительно смысла этой литературы: он восторгается фразами книги и не понимает, что она означает в действительности. Немудрено, что он и сам говорил много фраз, не отдавая себе отчета в их смысле, — как упрекал его еще Белинский.

Карамзин был в восторге от Парижа. «Я в Париже! Эта мысль производит в душе моей какое-то особое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение... Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами — веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений»²⁵. Это была, как мы знаем, общая мысль русских образованных людей тогдашнего времени, которые вообще видели в Париже «столицу ума и вкуса». Но Париж, восхитивший Карамзина, был именно Париж старого режима; он восхищается Версалью и Трианоном, дворцом графа д'Артура и французской аристократией; он сам познакомился с каким-то богатым домом, участвует на литературном чтении, рассказывает содержание «розовой тетрадки» аббата, заключавшей рассуждение о любви, пишет нежные стихи. Но он не мог постичь, что значила новая политическая жизнь, которая в это время уже охватила Париж и, по его собственным словам, занимала все умы. Он просто не разумел, чего хотят французы; ему очень прискорбно, что «французы думают ныне о революции, а не о памятниках любви и нежности»; народ, проснувшийся теперь с сознанием своего права и восставший против феодального угнетения стольких веков, и представители этого народа, просто — «парижские варвары», дерзкие смельчаки, «поднявшие секиру на священное дерево», т. е. на старую монархию, «при которой — по мнению Карамзина — всё благоденствовало!» В одном и том

* Бури и натиска (нем.).

же письме (из Франкфурта, 29 июля) Карамзин восхищается героизмом Фиэски в трагедии Шиллера²⁶ и презрительно отзывается о парижских сценах: так расходились в его понятиях книга и фраза с жизнью. На французские события вообще ложится неблагоприятная тень в его рассказе; ему хочется даже ограничить размеры движения, как будто действовала только шайка буянов, — хотя еще до приезда его в Париж совершились события, которые были возможны только потому, что были делом целой народной массы, и хотя ему самому приходится упоминать, что «целые деревни вооружаются», «солдаты не слушаются офицеров», «бабы говорят о революции», даже те, кто мог действительно «благоденствовать» при старой монархии, «французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками трона». Он скорбит, что «грозная туча носится над башнями Парижа», что «златая роскошь, опустив черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздух и скрылась за облаками»; он скорбит о «прекрасной Марии», о каком-то «кавалере св. Людовика», выгнанном «бунтующими поселянами» из своего поместья. Все движение представляется ему общим бунтом; он не понимает, чем была «прекрасная Мария», чем были «кавалеры» для поселян, забывает, что «грозная туча», между прочим, пронеслась над башнями Бастильи, и наконец забывает, что идеи народного права, которые теперь так громко высказывались, были идеи его Руссо, что он уже требовал справедливости и свободы, отказ в которых вызвал наконец эту страшную бурю. Поклонник Руссо ничего не понял во французском движении: он оказался на стороне салонных франтов и аббатов с розовыми тетрадками о любви...

Почитатели и панегиристы Карамзина восстают против критиков, которые удивлялись, что письма Карамзина из Франции обнаруживают такое непонимание событий, совершившихся у него на глазах. Почитатели Карамзина возражают, что «это были письма интимные», письма к Алексею Александровичу и Настасье Ивановне*, что «с ними он не имел намерения входить в суждения о важных материях, вот и все»; что из писем Мелодора к Филалету и обратно, можно определить отношение Карамзина к французскому перевороту: началось оно сочувствием, а кончилось разочарованием, и что, конечно, этот интерес его к французскому перевороту начался не в 1794, когда писаны были упомянутые письма, а гораздо ранее: «как доказать, что не ранее? И нужно ли это доказывать?»²⁷ Другой аполо-

* Плещеевым, с которым он был в дружбе.

гист²⁸ замечает, что Карамзин «хотел изучить в Париже *веселую французскую жизнь старого времени*, видеть здания и чудеса искусства, набраться новыми впечатлениями. Странно было бы ожидать от Карамзина, чтоб он следил в Париже за новыми явлениями (?). На волнение его он смотрел «с тихой душою, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море», и т. д. *

Эти возражения, однако, неудовлетворительны, и прежде всего тот аргумент, что письма были писаны к Настасье Ивановне, имел бы силу только в том случае, если бы они и остались у нее в ящичке или читались только в семейном кругу: как скоро они были напечатаны, то публике все равно, кому они присылались первоначально. Что Карамзин не имел намерения входить в суждения о важных материях — также неверно, потому что письма преисполнены суждениями о важных материях, именно о философских материях первой важности, о крупных явлениях литературы, и даже политики, — суждениями, которые часто делают честь уму писателя, но часто были и указанного выше сорта. В какое время составлялись взгляды Филалета и Мелодора²⁹, в 1794 или в 1790, это, пожалуй, все равно; но заметим, что «Письма русского путешественника» напечатаны были уже в 1791—1792 годах. Далее, приписывать Карамзину желание изучать в Париже только веселую жизнь старого времени — довольно странно, как будто Карамзин хотел в Европе только «жуировать»; с другой стороны, он вовсе не предпринимал и археологические изыскания. Карамзин, как вообще путешественник, желал просто видеть европейскую жизнь, как она была в то время. От него никто не требовал, чтобы он «следил» за новыми явлениями, но он беспрестанно о них говорит и судит, и потому очень можно удивляться, как он не понял того, что перед ним происходило во Франции и что уже в то время привлекало внимание всей Европы. Всего скорее можно было бы (как некоторые и делали) ссылаться на цензурные опасения, которые могли мешать ему говорить искренно свои мысли; но и тогда заметна была бы эта вынужденная сдержанность. Но ее вовсе нет, и Карамзин вообще весьма определенно высказался о французском перевороте, как показывают даже приведенные цитаты, и незачем прибегать к Филалету или Мелодору, чтобы выяснить его отношение к делу. Сущность взгляда его сводится к тому, что при старой монархии всё

* Галахов. Ист<ория> Р<усской> Слов<есности>. II. С. 9 и др.; Казанский юбилей Кар<амзина>. С. 65 и др.

во Франции благоденствовало, но затем явились дерзкие смельчаки и подняли секиру на священное дерево, говоря: «мы лучше сделаем»; вследствие того раздался грозный крик парижских варваров, поселяне начали бунтовать, солдаты перестали слушаться офицеров, дворянство и духовенство оказались плохими защитниками трона, и печальным результатом этого было то, что «прекрасная Мария» была крайне огорчена, золотая роскошь с горестью поднялась на воздух и скрылась за облаками, «кавалеры» страдали, изгнанные бунтующими поселянами, и наконец французы вообще перестали думать о памятниках любви и нежности, и нация, столь веселая, остроумная и любезная, должна была, вероятно, утратить свой приятный характер.

Мы не прибавили ни одной черты, которой нет у Карамзина, и нам кажется, что такая картина французского переворота достаточно ясно определяет взгляды наблюдателя. Не требуя вовсе от Карамзина, «чего он не может дать», кажется, следует требовать от человека, выражающегося так решительно, чтобы он ясно понимал, что говорит. Карамзин восхищается Руссо и делит его мечтания; он знает вообще французскую литературу, восставшую против всяких несправедливостей и бедствий старого порядка и создававшую новые идеалы свободы и просвещения, он мог быть этим хоть несколько подготовлен к уразумению того брожения идей, какое он встретил во французской жизни. Он приехал в Париж, когда уже совершились первые бурные сцены революции. Никто не станет ни одну минуту требовать, чтобы Карамзин, воспитанный в повиновении властям и чувствительный, одобрял эти сцены, чтобы ему нравились народные волнения; но серьезный человек, если уже начинает говорить о них, должен бы отдать себе отчет в том, *от чего* же наконец происходили эти сцены и эти волнения. Карамзин просто отвечает, что это «бунт» — хотя легко мог узнать в Париже, если не понимал сам, почему разрушена была Бастилья, почему поселяне изгоняли «кавалеров», почему солдаты переставали повиноваться офицерам, и почему наконец вся эта народная масса стала так легко поддаваться бурному потоку, конечно не обещавшему ничего доброго для Версали³⁰, Трианона³¹ и для «памятников нежности». Все эти вопросы как будто не существуют для Карамзина, — а ему, повторяем, не трудно было бы, хотя несколько, разъяснить себе эти вопросы, — без чего он и не мог собственно высказать благоразумно своего приговора о событиях. Он даже лицом к лицу видел некоторые события, он беседовал с «французским Платоном»³², он был в националь-

ном собрании и слушал Мирабо...³³ В то же время, говорят нам, что отношение Карамзина к этому движению началось «сочувствием».

Мы не будем винить Карамзина за эти противоречия: он был еще молод, не умел понимать действительности, не мог согласить своих сентиментальных теорий с жизнью, ему трудно было осмотреться в событиях — все это было очень возможно для человека, впервые увидевшего Европу после патриархальных нравов и бедной умственной жизни русского общества; мы хотим только сказать, что не находим в «Письмах» основания для преувеличенных восхвалений, которые считают своей обязанностью его нынешние поклонники, и все-таки находим гораздо более справедливыми слова обличаемого ими Белинского. «Столько ли Карамзин сделал, сколько мог, или меньше? — спрашивает Белинский. — Отвечаю утвердительно: *меньше*». «Он отправился путешествовать: какой прекрасный случай предстоял ему развернуть перед глазами своих соотечественников великую и обольстительную картину вековых плодов просвещения, успехов цивилизации и общественного образования благородных представителей человеческого рода!.. Ему так легко было это сделать!.. И что же он сделал вместо всего этого? Чем наполнены его Письма Русского Путешественника?.. Карамзин виделся со многими знаменитыми людьми Германии, и что же он узнал из разговоров с ними? То, что все они люди добрые, наслаждающиеся спокойствием совести и ясностью духа. И как скромны, как обыкновенны его разговоры с ними!..»³⁴ При всем том Белинский справедливо замечал, что недостатки «Писем» происходили больше от его личного характера, чем от недостатка в сведениях. Карамзин мало знал умственные нужды русского общества, — но кроме того, он и сам не выработал себе прочного образа мыслей, который бы предохранил его от странных колебаний и противоречий между возвышенными сентиментальностями в теории и поверхностными, узкими взглядами на деле. Не надо думать, чтобы лучшие взгляды были невозможны. Так, относительно французской революции, господствующего политического явления той эпохи, в русском обществе уже в то время существовали очень верные представления. Назовем, например, книгу Радищева: каковы бы ни были мнения об этой книге и об увлечениях ее автора, нельзя не признать, что в ней есть замечательное понимание совершившихся событий; Радищев также не сочувствует «необузданностям» революции, но вместе с тем чрезвычайно здраво судит об ее происхождении и общем ее смысле. Нам случалось указы-

вать другого современника, который точно так же очень ясно видел значение событий; это был масон И. В. Лопухин³⁵, человек того самого общества, от которого Карамзин отделился, конечно, считая его отсталым.

Но, при всей странности этих взглядов Карамзина, мы находим у него сочувствие тем идеям, которые хотела осуществлять французская революция, т. е. этим идеям, как они представлялись ему в книгах, а не в бурном историческом процессе, где он их не понял. В кругу отвлеченных понятий, Карамзин есть нежнейший друг человечества*, защитник его прав, просвещения, человеческого достоинства; его идеалы — идеалы просветительской литературы конца XVII-го века. Это совершенно ясно выразилось в его тогдашних суждениях о реформе Петра, особенно интересных при сравнении их с его позднейшими мнениями об этом предмете, которые мы приведем дальше. Статуя Людовика XVI напомнила ему о Петре Великом, и Карамзин называет Петра «лучезарным богом света», освещающим кругом себя глубокую тьму; он считает его «благодетелем человечества» — в том смысле, как благодетелей человечества разумели философы просвещения. Он самый пламенный поклонник реформы, потому что «путь просвещения один для всех народов»; сожаления о русской старине кажутся ему «жалкими иеремиадами» или «шуткою, происходящею от недостатка в основном размышлении». «Мы не таковы, как брадатые предки наши — тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, праздность, скука были их долею и в самом высшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. *Все народное ничто пред человеческим. Главное дело стать людьми, а не славянами.* Что хорошо для людей, то не может быть дурно для русских, и что англичане или немцы избрели для пользы, выгоды человека, то мое, ибо я человек»³⁶.

Панегиристы Карамзина, указывая эти его мнения, спешат обыкновенно успокоить читателя, что позднейшее развитие мыслей Карамзина, в особенности глубокое изучение русской истории, совершенно излечили его от этой космополитической ереси, и привели его к другим, очень противоположным поня-

* Несколько позднее, в 1793, в частном письме к Дмитриеву он выражается так: «...ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою... Назови меня Дон-Кихотом; но сей славный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так страстно, как я люблю человечество» — письмо от 17 августа 1793 г. (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 42. — *Сост.*).

тиям, которых он постоянно и держался впоследствии. Панегристы вообще считают приведенные выше мысли Карамзина заблуждением молодости. Можно совершенно согласиться с ними, что этого мнения вовсе нельзя считать характеристическим мнением настоящего Карамзина, но трудно согласиться, чтобы Карамзин пришел к лучшему, когда отказался от своего прежнего взгляда, или, лучше сказать, когда отказался впоследствии развить этот взгляд в более совершенное воззрение при помощи тех средств, какие давали ему потом дальнейшие наблюдения над событиями и «глубокое изучение» русской истории. Нельзя не повторить еще раз, что употребление, какое делают теперь панегиристы Карамзина из его позднейших, настоящих его мнений, способно еще усилить сожаление, что он так скоро и, кажется, легко бросил свою прежнюю точку зрения.

Действительно, бросить ее нельзя было безнаказанно. Оставив ее, Карамзин очень последовательно пришел к консерватизму, вообще самому непривлекательному. Новейшие славяне радуются, что Карамзин впоследствии так изменил свои мнения, что сказал бы свои прежние фразы в обратном порядке, — он предпочел бы народное человеческому, и посоветовал бы соотечественникам сначала быть славянами, а потом людьми. Но новейшие славяне забывают, что «человеческое» есть только тот запас нравственных и общественных идеалов и запас научного знания, который собран коллективным трудом целого человечества, и в этом смысле никаким образом не может представлять чего-либо несовместного с сущностью какой-либо отдельной национальной природы или противоположного ей; и что, с другой стороны, «народное», совмещая в себе все индивидуальные особенности нации, и ее достоинства, и ее недостатки, представляет собой тот же запас идеалов и знания, только более тесный, потому что он ограничен средствами одной нации. Таким образом, «человеческое» и «народное» — не противоположности, а только градация. Когда индивидуально-народное дело или идея становится общечеловеческим, это — высшая историческая заслуга и величие нации; но чтобы достигать этого, нация необходимо должна воспринять и разработать в себе интерес общечеловеческий. В этом взаимодействии совершается движение цивилизации, и от него зависит различие в относительном значении наций. Таким образом, «человеческое» является необходимым элементом в жизни народа, если он стремится к историческому значению. Можно спорить о практических средствах и путях, которыми отставший народ может усвоить

себе существующий запас общечеловеческого содержания, но не может быть спора о выборе между народным и человеческим, как между противоположностями. Поэтому исключительные защитники «народного», противопоставляемого «человеческому», «космополитическому», в конце концов всегда и впадают в узкий консерватизм, крайне вредный для интересов общества и народа, когда такие люди, становясь общественной и политической партией, приобретают значение и силу. Этот вред является необходимо, потому что, защищая народное, обыкновенно защищают и его недостатки и его отсталость. Заметим, что такие споры о народном и человеческом и боязнь этого последнего составляют в особенности принадлежность обществ, которые не успели еще воспринять в себя достаточно общечеловеческих идей, знаний и учреждений; другие общества и нации, уже воспринявшие более или менее это общечеловеческое содержание и работавшие для него, напротив, стремятся отождествлять себя с человечеством, считать себя его представителями. Довольно вспомнить, *как* говорят в подобных случаях французы, немцы, англичане.

Изменение взглядов Карамзина, восхваляемое новейшими панегиристами его, особенно рельефно выказалось на его суждениях о Петре Великом, что и естественно. Из великого поклонника реформы Карамзин стал строгим ее порицателем. Защищая «народное», т. е., как обыкновенно, старину, Карамзин должен был и в новой жизни защищать все, что наследовала она от старины или в чем продолжала ее. Ему надо было защищать недавний *status quo* от всяких реформ — он и защищал его с усердием, достойным лучшего дела, потому что ему пришлось восхвалять то, что далеко не стоило похвалы, и умалчивать о том, что требовало осуждения. Он делал то и другое.

Мы увидим, как эти мнения и это фальшивое положение Карамзина выказались особенно в записке «О древней и новой России». Впрочем, эта перемена не была каким-нибудь резким поворотом во мнениях Карамзина. Он и после, как в периоде «Писем», говорил о любви к человечеству, о добродетели, о натуре; но в сущности он не приходил к какому-то ясному общественно-политическому воззрению, и повторяя те же сантиментально неопределенные общие фразы, он мог теперь извлекать из них одни заключения, потом — совершенно другие.

В «Письмах» в то время, когда он, по его словам, «ожидал торжества разума» и когда, говорят, сочувствовал французскому движению, он рассуждает о событиях таким образом: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня

для добрых граждан; и в самом *несовершеннейшем* надобно *удивляться чудесной гармонии*, благоустройству, порядку (?). Когда люди уверятся, что для собственного их счастья *добродетель* необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни (?). Всякие же насильственные потрясения гибельны... Предадим себя во власть Провидению: Оно, конечно, имеет свой план; в Его руке сердца государей — и довольно. Легкие умы думают, что все легко; *мудрые* знают опасность всякой (?) перемены и живут тихо. Французская монархия производила великих государей, великих министров, великих людей в разных родах: под ее мирною сению возрастали науки и художества; жизнь общественная украшалась цветами приятностей, бедный находил себе хлеб, богатый наслаждался своим избытком... Но дерзкие подняли секиру на священное дерево»³⁷ и проч.

Панегиристы замечают, что в это время Карамзину было только 23 года и удивляются мудрости изречений. Признаемся, находим изречения вполне соответственными его возрасту и видим в них не столько мудрость, сколько непоследовательность или необдуманность. Если Карамзин думает, что надо предаться Провидению и что оно, конечно, имеет свой план, в таком случае и рассуждать о событиях было бы бесполезно, а тем более было бы ошибочно осуждать их. Он, конечно, не мог претендовать, что ему известны планы Провидения, мог ли он оспаривать, что теми событиями, какие совершались, Провидение именно хотело наказать несправедливость старого порядка и само разрушило власть, злоупотребившую своей силой: можно ли тогда осуждать людей, которые исполнили его волю? Трудно понять далее, как в «несовершеннейшем» порядке вещей бывает «чудесная гармония», какими путями люди уверятся в «необходимости добродетели», в чем их тщетно убеждают с сотворения мира, как могут быть опасны «всякие» перемены, напр<имер>, перемены, благодетельные для народа? Наконец, утверждения Карамзина о всеобщем благоденствии при старой монархии могли бы свидетельствовать разве только о недостаточном знании французской истории, потому что старая монархия произвела очень немного великих государей и министров и гораздо больше совершенно ничтожных, а великие люди «в разных родах» гораздо реже были ее созданием, а всего чаще были или ее противниками или жертвами.

Критики Карамзина составляют, по его сочинениям, целую нравственно-политическую философию и называют ее оптимизмом³⁸; может быть, но в применениях к фактам и событиям,

как мы видели, эта философия бывает скорее похожа на туманный фатализм, обыкновенно очень сантиментальный, а иной раз, при всей чувствительности автора, забывающий требования простого человеколюбия и справедливости, и в конце концов дающий событиям и общественным явлениям самые странные толкования.

Чтобы закончить с рассуждениями Карамзина об европейских событиях, мы остановимся еще на последних его выводах о французской революции, высказанных уже в царствование Александра, в «Вестнике Европы». Прошло много времени, совершилось много потрясающих событий, общественное настроение в России вызывало интерес к политическим вопросам, автор был в полной силе своей литературной деятельности, — но в сущности его понимания вещей не произошло большой перемены.

Карамзин желает, чтоб началась новая эпоха не только для политики, но и для самого человечества. «По крайней мере истинная философия ожидает хотя сего единственного счастливого действия ужасной революции, которая останется пятном восьмого-надесять века, слишком рано названного философским. Но девятый-надесять век должен быть счастливее, уверив народы в необходимости законного повиновения, а государей в необходимости благодетельного, твердого, но отеческого правления. Сия мысль утешительна для сердца»...³⁹ В другом месте он говорит: «Революция *объяснила идеи*: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства, что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий; ...что все смелые теории ума... должны *остаться в книгах (!)*; ...что учреждения *древности* имеют *магическую силу*, которая не может быть заменена никакою силою ума; что одно *время* и благая воля законных правительств должны исправить несовершенства гражданских обществ... То есть, французская революция, грозившая испровергнуть все правительства, *утвердила* их... *Теперь* гражданские начальства крепки не только воинскою силою, но и внутренним убеждением разума»⁴⁰. Упомянув, как с половины XVIII-го века все сильные умы желали перемен, как везде обнаруживалось *неудовольствие*, «люди скучали и жаловались *от скуки (?)*, видели одно зло и не чувствовали цены блага, проницательные наблюдатели ожидали бури, Руссо и другие предсказали ее с разительною точностью», Карамзин заключает, что «теперь все лучшие умы стоят

под знаменами властителей и готовы только способствовать успехам настоящего порядка вещей, *не думая о новостях...* С другой стороны, правительства *чувствуют важность* сего союза и *общего мнения, нужду в любви народной, необходимость истребить злоупотребления*»⁴¹.

Таким образом, прошло много лет, и мнения Карамзина не изменились. Суждение его о смысле господствующего события той эпохи остается также неопределенно. Французский переворот делает стыд восемнадцатому веку и был только ужасным бедствием. Но проникательные люди ждали бури, даже с разительной точностью предсказали ее; были, следовательно, достаточные основания предвидеть переворот — Карамзин не замечает этих оснований, находит только, что люди почему-то хотели перемен и жаловались *от скуки!* Он смело затем утверждает, будто французская революция, грозившая ниспровергнуть правительства, только утвердила их, точно Бурбоны жили тогда в Париже, а не кочевали в Европе изгнанниками. Далее Карамзин настаивает, что смелые теории ума должны остаться в книгах, а что учреждения древности имеют магическую силу — как будто европейские умы восемнадцатого века работали только для книг; он забывает, что «смелые теории» угадывали и высказывали потребности времени, что развитые XVIII-м веком идеи терпимости, общественной и умственной свободы, гражданского достоинства и были предметом революционных стремлений, которые во многом и достигли своей цели; он забывает и то, что магическая сила древности, напротив, не спасла старой деспотической монархии и ее атрибутов. Но, доказывая эту бесплодность переворота, сам Карамзин находит однако, что когда ужасные бедствия кончились, то в результате правительства чувствуют важность «общего мнения», нужду «в любви народной» и т. д.; но, заметив факт, он не может объяснить его происхождения...

Для русских читателей и людей русского общества он делает одно замечание о событиях: «...мы видели издали ужасы пожара, и всякий из нас возвратился домой благодарить небо за целость крова нашего и быть рассудительным». Совет быть «рассудительным» и «тихим» он повторяет несколько раз, — хотя совет был совершенно излишний: с давних времен русское общество было очень уже тихо. Общий нравственно-политический вывод Карамзина был тот, что народам и отдельным людям нужно только повиновение, что волнения и теории гибельны и что всё следует предоставить «времени» и «Провидению». Это был целый общественный квиетизм. Правда, Карамзин гово-

рил, что нужно «просвещение», но он остерегался говорить, должно ли это быть настоящее просвещение или что с ним делать, если оно будет приходить к «теориям». На всех рассуждениях Карамзина лежит отпечаток чего-то крайне неясного: обществу он рекомендует только просвещение, повиновение и добродетель, но нигде он не касается прямо до существенных вопросов внутренней жизни, тех вопросов, где обнаруживались общественные противоречия и где надо было сказать прямо, чего он хочет. Мы увидим, что когда он прилагал свои рассуждения к русским делам, в этих случаях он или просто умалчивает об известных вещах, или замаскировывает их благовидными орнаментами, когда их смысл не совсем укладывался в его теорию. А теория при всей благовидности фраз была та самая, которую несколько десятков лет спустя проповедовала другая школа, как высокую русскую добродетель, под именем «принижения личности».

По возвращении из-за границы Карамзин стал издавать журнал⁴², потом несколько альманахов⁴³ и т. п. Литературная деятельность его, основавшая известную сентиментальную школу, имела большой успех, но Карамзин не был спокоен и жаловался в письмах к Дмитриеву, что теряет охоту «ходить под черными облаками». Биографы Карамзина объясняют, что эти черные облака, «помрачившие все цвета жизни», могли означать только то, что Карамзина огорчало равнодушие и холодность императрицы Екатерины к его трудам. Во время Новиковского дела⁴⁴ названо было имя Карамзина, хотя сам Прозоровский⁴⁵ тотчас увидел, что Карамзин не имеет к делу никакого отношения. Биографы предполагают, что на Карамзине могли остаться темные подозрения, которые и беспокоили его. «Как бы то ни было, — говорит г. Погодин, — не находя возможности действовать на избранном им поприще, по желанию, с *полною свободою*, Карамзин оставил его, но *умея находиться* во всяких данных обстоятельствах... *без напрасных жалоб*, он *спокойно* перешел на другое поприще... *завел себе четверню лошадей* и начал разъезжать по городу. Его любезность, образованность, его слава обеспечивали ему успех в большом свете» *. Таким образом, Карамзин видел некоторые неудобства тогдашних порядков, хотя, как видим, для него лично они не были особенно тяжелы. Он провел царствование Екатерины и Павла совершенно спокойно; черные облака прошли мимо. Это и не мудрено. В тогдашних изданиях его попадались иногда вольнодумные мысли, которые

* «Н. М. Карамзин». Т. I. С. 245.

могли иным давать повод считать его за вольнодумца, но рядом с ними шли самые благонамеренные рассуждения «Писем русского путешественника»; все литературные связи Карамзина были совершенно солидные, как, напр<имер>, Державин, Херасков, Дмитриев и т. п., — и вольнодумство не навлекло ему никаких действительных неприятностей. При Павле на него делали доносы, — вероятно, тот же Голенищев-Кутузов⁴⁶, кажется, исключительно доносивший на Карамзина, теперь и впоследствии, при Александре, — но эти доносы были так невежественны (хотя Голенищев-Кутузов все-таки мог быть при Александре попечителем Московского университета), так грубы и аляповаты, что не только при Александре, но и раньше, при Павле, не имели никакого влияния. Доносы, конечно, были и грубо несправедливы, потому что даже в ту эпоху, когда он «сочувствовал» французскому перевороту, когда он, как говорят, удивлялся Робеспьеру⁴⁷, — все это сочувствие и удивление оставались столь платоническими, что мешали Карамзину в то же самое время писать о французском перевороте вещи, какие мы приводили.

Правление имп<ератора> Павла, как мы говорили прежде, заставило думать о положении дел в обществе даже людей, которых до того времени эти дела вовсе не интересовали. Нечего говорить, насколько смысл этого правления должен был быть ясен для людей образованных, которым были доступны некоторые нравственно-общественные понятия. Это время явилось характеристическим образчиком нашего общественного устройства. Карамзин не извлек из него никакого опыта.

Наступило наконец время Александра.

Можно было бы не придавать особенного значения тому, что Карамзин, вместе с литературной толпой, писал восхвалительные оды, свойство которых бывало обыкновенно то, что они переходили всякую меру лести предержавшим властям. Написавши оду в 1796 году⁴⁸, он потом разочаровался, но с новой ревностью писал оды в 1801⁴⁹. Это последнее одописание легко объяснить всеобщим восторженным настроением, с которым принято было воцарение Александра, но от писателя, как Карамзин, надо было бы по крайней мере ожидать, что он не хочет только льстить, как толпа тогдашних рифмотворцев, что он не говорит на ветер, что он несет ответственность за свои слова. Карамзин получил от императора несколько подарков за свои панегирики, и, к сожалению, забыл об этом, когда писал свою записку о древней и новой России: быть может, воспоминание о

прежних одах внушило бы большую осмотрительность карательному красноречию «Записки»...

Кроме двух од, которыми Карамзин приветствовал нового императора, он в первое же время написал похвальное слово Екатерине II. По словам новейших биографов, Карамзин, ободренный благосклонным принятием его од (он получил за них два перстня), «вознамерился выразить яснее свои мысли о желаемом правлении» посредством описания дел Екатерины. Цель была несколько дипломатическая. «Пример казался для Карамзина гораздо действительнее и полезнее всех умозрительных, отвлеченных рассуждений, тем более, что они могли подать еще повод к невыгодным предположениям о непрошенных наставлениях, а по мнению других, пожалуй, и дерзких. Под щитом императрицы Екатерины, *которой имя было возведено* в первом манифесте, Карамзин мог гораздо безопаснее проводить свои собственные мысли». При этом Карамзин забыл свои собственные неприятные воспоминания об том времени или объяснял их тревожными обстоятельствами конца правления Екатерины, и «хотел только почтить благодеяния». Вообще, он «пропустил, и даже не намекнул об ее недостатках и пороках, потому ли, что считал неприличным принимать на себя слишком явно учительный тон, опасался оскорбить тем самолюбие молодого государя, или считал неуместным, в *похвальном слове*, судить обо всей жизни в совокупности, или, наконец, до того очаровался общим впечатлением блистательного царствования, что все тени ускользнули (?) в эту минуту от его внимания»*.

То есть биограф сам чувствует, что подобное описание царствования нуждается в объяснении, и приводит их сколько может. Относительно первого, можно заметить, что какое дипломатическое значение ни придавал бы Карамзин своему труду, ничто не мешало ему сказать хотя часть правды, вовсе не впадая в учительный тон и вовсе не оскорбляя самолюбия, особенно с тем медовым стилем, каким он отличался. Он мог «считать это неуместным в похвальном слове», — но его добрая воля была выбирать эту несчастную литературную форму, которая вместе с одой расплочала в старой литературе столько искажения правды и столько рабской лести: ему никто не мешал дать своему труду форму исторического обозрения, которая была бы весьма естественна и невинна и открывала бы полную возможность для критических замечаний, хотя бы самых тонких и де-

* Погодин. Т. I. С. 326.

ликатных. Если он «очаровался» — так внезапно и задним числом, — это во всяком случае было бы несколько странно в глубоком историке и политике, каким изображают его биографы. Он не в первый раз знакомился с царствованием Екатерины: он прожил в нем лет пятнадцать своей сознательной жизни, когда он мог достаточно судить о вещах. Ему должны были быть особенно памятливы последние годы царствования, когда он «ходил под черными облаками, которых тень помрачала в его глазах все цветы жизни»*, — и если бы он хотел серьезно смотреть на вещи, то мог бы видеть, что «облака» не были случайностью, что, напротив, это был целый порядок вещей, который повторялся и потом и который он сам опять хорошо чувствовал, когда писал в августе 1801 г. об императоре Александре: «мы при нем *отдохнули*; главное то, что можем *жить спокойно*». Со стороны Карамзина было бы великодушно, если бы, «очаровавшись», он в своем панегирике забывал одни свои личные испытания и тягости; но он забывал и тягости народа, который при Екатерине дорого расплачивался за блистательное царствование. Забыть, очаровавшись, всю действительную историю — не было особой заслугой ни для историка, ни особым выигрышем для дипломата, потому что в обоих случаях дело было поставлено фальшиво; исторически постановка была односторонняя и неверная; в публицистическом отношении сочинение не достигало цели, потому что терялось в куче похвал и лести, ничего не делало для общественной свободы (о которой Карамзин в это время все-таки говорил) и для объяснения потребностей общества монарху. Дипломатический расчет был тем более неверен, что император Александр сам видел, и очень близко, царствование Екатерины, еще юношей он замечал его слабые и непривлекательные стороны, и неумеренная похвала по этому уже могла возбудить в нем сомнение и не достигнуть цели.

В сочинениях Карамзина, писанных за первые годы царствования имп<ератора> Александра, как мы отчасти уже указывали, господствует тот же общий характер, каким отличаются его «Письма», — тот же сантиментальный туман и странное отношение к практическим фактам в истории и в настоящем. Так, в русском XVIII-м столетии, только что пережитом, Карамзин находит сюжет только для панегирика. В его вечном противоречии между чувствительными увлечениями и практическими взглядами, между словами и делом, уже не трудно видеть задатки позднейшего упорного консерватизма; потому что либе-

* В письме к Дмитриеву. 1795. 14 июня.

рализм его отвлеченных принципов, его любовь к человечеству, к «просвещению», восхваление «республиканских» добродетелей были слишком книжно изысканны, в них слишком большую роль играла старательно обделанная и украшенная фраза, чтобы за этой фразой можно ожидать настоящего чувства и продуманной мысли. Но на первое время его консерватизм не высказывался так откровенно, как впоследствии; он разделяет либеральные увлечения того времени и говорит тем свободолобивым тоном, в каком был настроен император Александр и его первые друзья.

В первой оде Александру Карамзин повторяет то сравнение, каким воспользовался и Державин; он радуется, что

...милая весны явление
Собой приносит нам забвенье
Всех мрачных ужасов зимы.

Во второй оде он говорит о том,

Сколь трудно править *самовластно*
И небу лишь отчет давать,

И замечает тут же:

Но сколь велико и прекрасно
Делами Богу (!) подражать...
Он может *все*, но *свято чтить*
Его ж премудрости *законы*.

Народу нужны законы и свобода, — как мечтал в то время и сам Александр:

Короны блеском ослепленный
Другой в подвластных зрит — рабов;
Но Ты, душою просвещенный,
Не терпишь стука их оков.
Тебе одна любовь прелестна:
Но *можно ли рабу любить?*
Ему ли благодарным быть?
Любовь со *страхом* несовместна.
Душа свободная одна
Для чувств ея сотворена.

Далее, призывания к свободе:

Сколь необузданность ужасна,
Столь ты, *свобода*, нам *мила*,
И с пользою царей согласна;
Ты вечно славой их была и т. д.

И желание, чтобы новый царь давал новые законы:

Трудись, давай уставы нам и пр.

В похвальном слове Екатерине автор приходит в восторг от «Наказа», «лобызает державную руку», которая «под божественным вдохновением души» начертала те его строки, где говорится, что «самодержавство разрушается, когда государи... собственные мечты уважают более законов», что «несчастливо то государство, в котором никто не дерзает представить своего опасения в рассуждении будущего, не дерзает свободно объявить свое мнение» и т. д. Карамзин восхваляет либеральные рассуждения императрицы о свободе выражения мнений и о свободе печати, стеснение которой будет «угнетением разума, производить невежество, отнимает охоту писать и гасить дарования ума»; он восхваляет ее заботы о просвещении народа; восторгается комиссией об уложении, которая была «славнейшей эпохой славного царствования». В историческом отношении Карамзин дал здесь слишком пристрастную и подкрашенную картину царствования Екатерины, но по тем общественно-политическим мнениям, которые он хотел тут высказать, мы находим у него тот же общий тон, каким говорили наиболее либеральные люди того времени и каким говорили советники Александра. Желание свободы и просвещения, основание правления на законах, необходимость свободы слова и печати, даже одобрение представительства в виде восхваления Екатерининской «комиссии» — вот предметы, которые были указаны Карамзиным.

Когда он издавал «Вестник Европы», в течение 1802 и 1803 года, он нередко обращался к общественным вопросам того времени. Царствование Александра уже заявило тогда свои тенденции, и Карамзин опять является в роли восторженного панегириста либеральных мер.

По поводу нового плана народного просвещения Карамзин, называя указ об этом «бессмертным», смело говорит: «Многие государи имели славу быть покровителями наук и дарований; но едва ли кто-нибудь издавал такой основательный, всеобъемлющий план народного учения, каким ныне может гордиться Россия... Новая великая эпоха начинается отныне в истории морального образования в России, которое есть корень государственного величия ... Предупредим глас потомства, суд Историки и Европы, которая ныне с величайшим любопытством смотрит на Россию, скажем, что все новые законы наши мудры и

человеколюбивы, но сей устав народного просвещения есть сильнейшее доказательство небесной благодати монарха». Относительно исполнения плана Карамзин говорит, что, конечно, только в будущем явятся плоды и венец дела, потому что просвещение идет обыкновенно медленными шагами; а пока — «довольно, что сей бессмертный устав для совершенного просвещения империи нашей требует только верного исполнения; а можно ли сомневаться в исполнении того, что монарх России повелевает россиянам?»⁵⁰

Вспомним мимоходом, что в новом министерстве был между прочим М. Н. Муравьев, покровитель Карамзина, доставивший ему звание историографа и состоявший тогда попечителем Московского университета. В 1803 г. Карамзин поместил в «Вестнике Европы» статью о публичных лекциях, которые были тогда устроены в этом университете; в этой статье, по словам г. Погодина, «он хотел в особенности доставить удовольствие своему покровителю, М. Н. Муравьеву», и панегирик выходит из берегов. «После всего, что великодушный Александр сделал и делает для укоренения наук в России, мы не исполним долга патриотов и даже поступим неблагоприятно, если будем еще отправлять молодых людей в чужие земли учиться тому, что преподается в наших университетах (!). Московский отличается уже в разных частях достойными учеными мужами; скоро новые профессора, вызванные из Германии и в целой Европе известные своими талантами, умножат число их, и первый университет российский, под руководством своего деятельного и ревностного к успеху наук попечителя, возвысится еще на степень славнейшую в ученном свете»⁵¹.

Указ о правах и должностях сената и манифест об учреждении министерств не только не вызывает возражений, но, напротив, новый поток панегирика. «Читая указ о правах и должностях сената, россиянин благоговеет в душе своей пред сим верховным местом империи, которое никакому правительству в мире не может завидовать в величии (!), будучи храмом высшего правосудия и блюстителем законов, столь священных ныне в России. Сей указ напоминает нам славное начало сената, когда первый император России, победив шведов и приготавливаясь к новой, не менее опасной войне, основал его, как спасительный колосс власти в столице государства» и проч. О новых министрах: «Кто не уверен в патриотической ревности сих достойных мужей, возвеличенных именем министров России, державы, которая никогда не была столь близка к исключительному первенству в целом свете, как ныне?.. Не одна Франция долж-

на вечно хвалиться Сюллиями⁵² и Кольбертами⁵³, не одна Дания должна прославлять своих Бернсторфов...⁵⁴ *Уже прошло* то время в России, когда одна милость государева, одна мирная совесть могли быть наградою добродетельного министра в течение его жизни: умы созрели в счастливый век Екатерины II...; теперь лестно и славно заслужить, вместе с милостью государя, и любовь просвещенных россиян...»⁵⁵

Уничтожение Тайной Экспедиции вызвало у Карамзина воспоминание об ужасах тайной канцелярии; «Воспоминание, конечно, горестное; но в ту же самую минуту вы произносите имя Александра, и сердце ваше отдыхает!»⁵⁶ и проч.

В числе желаний, которые заявлял Карамзин для благополучия отечества, было желание иметь систематический кодекс; век Александра украсится великим делом, «когда будем иметь полное *методическое* собрание гражданских законов, ясно и *мудро написанных*... Александр дарует нам собрание законов, т. е. кодекс, или *систему гражданских законов*, определяющих взаимные отношения граждан между собою» и пр. Нельзя, кажется, обманываться, что в этих словах Карамзин желал не одного простого сбора старых указов, как он настаивал на этом впоследствии, а желал именно *нового* систематического законодательства, о котором тогда думало правительство.

Общее состояние России представлялось Карамзину в те годы в самом блистательном свете: «Взор русского патриота, собрав приятные черты в нынешнем состоянии Европы (успокоение революции при Наполеоне), с удовольствием обращается на любезное отечество. Какой надежды не можем разделить с другими европейскими народами, мы, *осыпанные блеском славы* и благотворениями человеколюбивого монарха? Никогда Россия столько не уважалась в политике, никогда ее величие не было так живо чувствуемо во всех землях, как ныне. Итальянская война доказала миру, что колосс России ужасен не только для соседей, но что рука его вдали может достать и сокрушить неприятеля. Когда другие державы трепетали на своем основании, Россия возвышалась спокойно и величественно... Она судьбою избрана, кажется, быть истинною посредницею народов». Внутри он видит спокойствие сердец, «верное доказательство мудрости начальства в гражданском порядке». «С другой стороны, друг людей и патриот с радостью видит, как свет ума более и более стесняет темную область невежества в России; как благородные, истинно-человеческие идеи более и более действуют в умах; как рассудок утверждает права свои и как дух россиян возвышается...»⁵⁷

Перечитывая все эти тирады, наконец утомляешься этим тоном лести, преклонения и восторга. Карамзин, конечно, в значительной степени выражал действительную радость общества в первые недели и месяцы правления Александра, и мы были готовы помириться с этим тоном; но он тянется годы, и тянется в такое время, когда было бы наконец возможно сказать и нечто более критически-хладнокровное, серьезное и нужное. Карамзин уже в то время пользовался авторитетом; способ действий правительства открывал возможность более открытого изложения мыслей; сам Карамзин говорил о свободе, которая нужна и которая приходила к обществу, но, вместо того, чтобы пользоваться этой свободой, он три года делает даже попытки выйти из тона панегирика или отвлеченно-чувствительных взываний к добродетели сограждан; здесь нет и речи о какой-либо серьезной критике общественных или правительственных недостатков: в «нравах» есть, конечно, недостатки, потому что *«разные обстоятельства изменили наш простой, добрый характер»*, — но о чем-либо более осязательном, о каких-нибудь недостатках в устройстве жизни не говорится или же говорится с смирением, преувеличенным до неприятной степени*. Если мы опять спросим: столько ли он сделал в это время, сколько мог, или меньше? Надо снова ответить: меньше. В то время, когда перед серьезным писателем открывалась именно возможность говорить о действительных интересах общества и с пользой служить самому правительству, Карамзин довольствуется льстивыми восхвалениями, которыми литература и без того была издавна наполнена через меру, и возбуждением национального самодовольства и самолюбия.

Только в одном вопросе Карамзин хотел рассуждать несколько самостоятельно, и где он уже не разделял «истинно-человеческих идей» — это был крестьянский вопрос, едва затронутый тогда имп. Александром. Мы остановимся дальше на мнениях Карамзина об этом предмете.

* В одной статейке «Вестника» Евр<опы>, писанной, вероятно, самим Карамзиным, автор восстает против заезжих иностранцев, которым у нас поручали воспитание, и обличает неблагодарность тех из них, которые, оставив Россию, бранят ее. Он собирался сделать выписку из одной книги подобного рода, но не сделал этого; «мне совестно, — говорит он, — что я имел любопытство читать такую книгу и не хочу в нее снова заглядывать». Так велика девическая стыдливость автора (О новых благородных училищах, заводимых в России // Вестник Европы. 1802. № 8. С. 364. — *Сост.*).

Нам могут сказать, что в тогдашнем положении общественного развития было много и то, что сделал Карамзин; что общество только впервые начинало знакомиться с подобными предметами, и сделать больше, быть может, не позволили бы самые условия. Но это едва ли так: условия нисколько не требовали того приторно-льстивого тона, каким говорил Карамзин, и он мог бы говорить иначе, если бы хотел. Наконец, мы и не ставили бы Карамзину таких требований, если бы он сам не говорил с таким эмфазом⁵⁸, и в особенности, если бы он немного лет спустя не явился таким нетерпимым судьей современных людей и событий в своей записке «о древней и новой России».

Эта записка вообще вызывает самые усердные восхваления нынешних почитателей Карамзина. «Важнейшее государственное сочинение, — говорит один, — стоит политического завещания Ришелье, которое мог написать только Карамзин с его ясным умом, с его наблюдательным расположением, с его долговременным изучением России... Может быть, он сам удивился своему труду»⁵⁹. Другой, с несколько либеральными тенденциями, хотя делает неясную оговорку о возможности некоторых ошибок в мнениях Карамзина, но все-таки говорит о «Записке» весьма патетически. «Записка о древней и новой России представляет, после истории, самое замечательное произведение Карамзина, его последнего, *зрелого* периода литературной деятельности, тем особенно, что, отрываясь от прошедшего... Карамзин высказывает здесь свой взгляд на современное состояние России и *в первый раз* (а прежде-то?) становится лицом к лицу с действительностью. С *глубоким чувством гражданина*, оставаясь во всей записке *верным эпитафю*, взятому им из псалма “несть лъсти во языке моем”, Карамзин хочет говорить монарху одну истину, как она представляется его уму и душе, как она *давно* созрела в его убеждениях, воспитанная внимательным и глубоким изучением прошедшего родины... Записка Карамзина имеет место в его биографии, как доказательство, что историк, занимаясь прошедшим, был не чужд вопросов времени и *живо, сознательно, с глубоким чувством понимал*, чего *недостает* его родине, где болезни ее и чем могут быть излечимы они... Карамзин был *вообще* прав, потому что в выводах своих опирался на историю прошлого. Больше других его современников, увлеченных легкостью делать бумажные опыты над жизнью народа, как историк, он уважал и ценил эту жизнь

и понимал только то крепким и прочным в ней, что выросло из нее самой, а не набросано сверху творчески самовластной рукою чиновника-администратора, воображающего себя Пигмалионом (!) перед бездушною статуею страны... Тайна скрыла от нас то впечатление, какое произвела искренняя и смелая речь патриота-историка на сердце царя...»⁶⁰ и т. д.

Новейшие почитатели Карамзина, как видим, дают «Записке» чрезвычайное значение: не только Карамзину отдается за нее великая похвала, не только обличается «самовластный» Сперанский, но из нее делается настоящая программа для предбудущих времен — «стоит политического завещания Ришелье»⁶¹, говорят они совершенно серьезно. Озлобленный консерватизм Карамзина нашел себе отголосок в новейших охранителях.

Из этого восхищения охранителей можно угадывать значение «Записки». Она действительно очень любопытна исторически, потому что Карамзин высказывал здесь не только свои личные взгляды, но во многих случаях излагал мнения целого консервативного большинства. Сам Карамзин высказывается наконец весь, потому что «Записка», без сомнения, была одним из наиболее искренних и наименее искусственных и натянутых его сочинений: для изучения его общественных понятий она представляет наиболее характеристических данных. Что касается внутреннего достоинства ее содержания, — глубины и справедливости ее основной мысли, доказательности аргументов, отличающего ее настроения, чувства — то, рассматриваемая без охранительного задора поклонников Карамзина, она представится далеко в ином свете.

Мы не станем оспаривать ее литературных достоинств, — со слов ее восхвалителей должно признать, что она прекрасно выражает охранительную точку зрения на русскую историю древнюю и новейшую, — но нельзя не видеть, что она крайне непоследовательна, что во многих случаях она обличает самого Карамзина и, наконец, что политическая мудрость, на которой она построена, подлежит большому сомнению, и чувство, ее проникающее, мало способно вызвать симпатию.

Записка «о древней и новой России» имеет задачей представить внутреннюю политическую историю России и ее современное состояние. Основная тема «Записки» — доказать, что все величие, вся судьба России заключается в развитии и могуществе самодержавия, что Россия процветала, когда оно было сильно, и падала, когда оно ослабевало. Урок, следовавший из этой темы для Александра, должен был быть тот, что и в настоящую минуту России ничего не нужно больше, что либераль-

ные реформы только вредны, что нужна только «патриархальная власть» и «добродетель». «Настоящее бывает следствием прошедшего» — этими словами Карамзин начал свою записку: это прошедшее должно было доставить ему основание для его выводов о настоящем, — вся сущность записки и цель ее заключается собственно в рассмотрении и критике царствования имп. Александра. Характеристика древней русской истории, на которой мы не будем долго останавливаться, соответствует, конечно, всему направлению его тогдашних исторических трудов и через меру окрашена тенденциозными красками, которых не следовало бы употреблять и по тогдашнему состоянию нашей исторической науки.

Для доказательства основной темы «Записки» Карамзину нужно было показать, что в древней России единовластие основало ее величие, которое потом пало от разделения княжеской власти и от удельной системы, и он утверждает, что «в конце X века Европейская Россия была уже *не менее* нынешней, то есть, во сто лет она достигла от колыбели до величия редкого» — чего, заметим, на деле вовсе не было; далее, что в половине XI-го столетия «Россия была не только обширным, но в сравнении с другими, и *самым образованным* государством» — чего также не было. Но когда наступила удельная система, для России наступил и упадок: «вместе с причиною ее могущества (единовластием), столь необходимого для благоденствия, исчезло все могущество и благоденствие народа» — положение, которое по крайней мере внешним образом совпадало с фактами.

В московском периоде все похвалы сосредотачиваются на мудрой политике московских князей, которые успели освободить Россию от монгольского ига и создать из нее могущественное государство. Восхваляя самодержавие, основанное московскими князьями, Карамзин всячески прикрашивает те времена, причем нередко делает насилие истории. Все получает благовидную внешность. Татарское иго не благоприятствовало наукам и искусствам, — и кажется, можно бы признать, что науки и искусства были плохи, — «однако ж Москва и Новгород пользовались важными открытиями тогдашних времен: бумага, порох, книгопечатание сделались у нас известны *весьма скоро* по их изобретении»; напр<имер>, книги стали печататься едва через сто лет по изобретении книгопечатания; управляться с порохом и пушками не умели хорошенько до самого Петра Великого. «Библиотеки царская и митрополитская, наполненные рукописями греческими, могли быть предметом зависти для иных европейцев» — тем больше, что в Москве некому было и

пользоваться этими рукописями, притом почти только бого-служебными и церковными. «Политическая система государей московских заслуживала удивление своею мудростью», — хотя все путешественники удивлялись азиатскому деспотизму власти и рабству, грубости и невежеству народа, и хотя сам историк тут же говорит, что «жизнь, имение зависели от произвола царей». Народ, по словам Карамзина, был доволен: «Народ, избавленный князьями от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; довольный действием, не спорил о правах», — хотя уходил целыми толпами в казачество и грабил ту же Россию.

Приступая к временам Петра, Карамзин собирает всю силу своих аргументов, чтобы доказать ошибку реформы. Теперь он думал о ней совсем иначе, нежели в Париже. Мы упоминали выше об этой перемене его мнений. Эта перемена мнений у Карамзина не имела вообще значения такого строго последовательного развития взглядов, от космополитизма к национальности, от свободомыслия к покорной умеренности, как обыкновенно изображают; потому что, как мы видели, у него издавна, в пору самых свободолобивых увлечений, были все задатки консерватизма — в виде восхваления старой французской монархии, в виде проповеди повиновения, отвращения к новостям, приверженности к «магической силе древности». Теперь только сильнее стала выдвигаться эта последняя сторона его мнений. Ей всего больше благоприятствовала русская жизнь. Сантиментализм Карамзина никогда не доходил до определенных общественных представлений; его идеалы, всегда туманные, остановились в конце концов на общественной неподвижности и на безмолвной покорности, которыми издавна была преисполнена русская жизнь. Реформа Петра была единственным фактом в русской истории, который нарушал эту теорию революционной резкостью преобразования, и Карамзину надо было доказывать, что реформа была вредна, что перемены даже не были и нужны, потому что и до Петра Россия уже принимала спокойно и умеренно плоды европейской образованности. В XVII-м столетии «еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком, в воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении... Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно... Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым».

Нет спора, что Петр действовал круто, но историк мог бы поставить вопрос: не был ли именно нужен крутой переворот, не потому ли только дело Петра и удержалось впоследствии, что на него были потрачены эти страшные усилия и неукротимая энергия? И эта энергия самого Петра не выражала ли только национальную потребность, понятую гениальным умом, вырваться из того полуварварства, в котором слишком долго оставалась древняя Россия? Прежнее, допетровское движение России, на которое ссылается Карамзин, в самом деле было так тихо и так «едва заметно», что в национальной жизни вовсе не представляло собой никакой действительной силы, какую стала потом реформа. На многие жалобы против Петра отвечал очень удовлетворительно сам Карамзин в «Письмах русского путешественника».

Аргументы Карамзина против реформы, очень благовидные по наружности, нередко, однако, совершенно неудовлетворительны, иногда несколько рискованны.

Петр Великий унижал народный дух, пренебрегал старыми обычаями, представлял их смешными и глупыми; «государь России унижал россиян в собственном их сердце: презрение к самому себе располагает ли человека и гражданина к великим делам?» Карамзин напоминает, что этот народный дух и вера спасли Россию при самозванцах. Этот дух «есть ни что иное, как привязанность к нашему особенному, ни что иное, как уважение к своему народному достоинству... Любовь к отечеству питается сими народными особенностями, безгрешными в глазах космополита, благотворными в глазах политика глубоко-мысленного. Просвещение достохвально, но в чем состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, искусства, науки не имеют иной цели. Русская одежда, пища, борода не мешали заведению школ» и т. д. Это справедливо было относительно одежды, пищи и бороды, но только с сантиментальной точки зрения можно было думать, что просвещение могло обойтись без столкновения с нравами. Просвещение, конечно, заключается в знании нужного для благоденствия, но в том и состоит спорный пункт, что благоденствие представляется совершенно различно на разных ступенях просвещения: существует обыкновенно большое расстояние не только между людьми просвещенными и непросвещенными, но и между людьми, стоящими на различных ступенях просвещения, и эта разница в степенях просвещения всегда в практических применениях была источником несогласия и недоверия двух сторон друг к другу. Самая слабая доля просвещения способна вызвать в грубой массе по-

дозрительность и вражду, и определяя дело исторически, трудно сказать, с которой стороны эта вражда высказалась раньше, которая сделала вызов и которая была более неправа. Карамзину могло быть известно, что народный разлад из-за старого и нового начался еще задолго до Петра, что даже то «медленное и тихое» движение, — которое обнаруживала Россия XVI—XVII века и которое выразилось и в Никоновской реформе книг, — взволновало народную массу до того, что она раскололась на две смертельно враждебные стороны. Петр еще в детстве пережил впечатления этого страшного раздора; вражда старой России против него началась еще в то время, когда он сам не сделал еще ничего против нее: настоящая старая Россия ушла в раскол еще при Никоне, и следствия *этого* раздора, явившегося задолго до деятельности Петра и независимо от него, конечно, играли главнейшую роль в том разладе, вину которого сваливает Карамзин на одного Петра. Каковы могли быть отношения между двумя сторонами в то время, когда реформа еще только обдумывалась и начиналась и когда, однако, против нее уже готова была оппозиция настоящей, т. е. раскольничьей древней России, об этом дают понятие страшные факты истории стрельцкого бунта. Что мог думать Петр, об этом Карамзин мог судить по своим собственным мыслям, когда, в прежнее время, он сам думал, что Петр должен был «свернуть голову» старому русскому упорству и невежеству (см. «Письма русского путешественника»).

Карамзин мог бы и с другой стороны исследовать, насколько это «унижение народного духа» было личной ошибкой и виной Петра. В самом деле, это унижение было само по себе слишком естественным результатом крайней загнанности народа, и «черного» и белого. Иоанн Грозный говорил о русских с презрением, на которое, конечно, имел не большие права, чем Петр Великий; у Петра презрение к народным обычаям не было по крайней мере явлением безумного тиранства и произвола и вызывалось мотивами, которые совершенно понятны; его собственные побуждения часто были истинно возвышенны. «Унижение народного духа» дошло до него, как готовая традиция, — потому что еще с Иоанна IV верховная власть московская уже вполне приняла характер восточного деспотизма, который не останавливался ни перед какими соображениями человеческого достоинства и уважения к народу. После того, что позволялось против народа в прежние и в позднейшие времена, вина Петра находит себе много извинений. До какой степени это «унижение» вытекало из целого характера жизни, — странным обра-

зом обнаружилось потом в царствование самого Александра, когда, по возвращении из Европы, он не раз высказывал пренебрежение к русскому и русским, которое едва ли было извинительнее, чем оскорбление народных обычаев Петром Великим.

В суждениях о реформе еще раз обнаружилось свойство сантиментальных взглядов Карамзина. Он всегда рекомендовал «просвещение» и «добродетель» как панацею всех гражданских и государственных зол, но он как будто никогда не думал о том, что в практической жизни «просвещение» не может оставаться одним приятным «украшением ума», а что оно может вести за собой такую перемену понятий, которая будет отражаться переменами и волнением в самой жизни, в ее нравах и устройстве. С этим туманным представлением Карамзин остался на век: если он, как справедливо заметил Белинский, дурно понимал умственные потребности русского общества, когда писал свои «Письма», то так же точно он не понимал их и после, через двадцать и тридцать лет; — он мало понимал их условия в прошедшем.

Карамзин считает вредной ошибкой уничтожение патриаршества и жалуется, что со временем Петра духовенство в России упало. По его мнению, патриаршество не было опасно для самодержавия, потому что «первосвятители имели у нас одно право — вещать истину государям, не действовать, не мятежничать». Напротив, Петр уже испытывал противодействие церковной власти, которая, по низкому уровню тогдашнего образования в русском духовенстве, пожалуй, не замедлила бы и более сильным противодействием, если бы патриаршество продолжало существовать в старинной его форме и стиле. Столкновение было неизбежно, потому что в сущность реформы Петра входила секуляризация верховной власти, которая прежде имела сильные феократические примеси — конечно, отжившие свой век в XVIII-м столетии. Упадок влияния духовенства не подлежит сомнению, но он произошел не от того, что его хотели унижать, а от того, что оно само отстало от движения, которое шло в светской образованности. Петр легко сходил с тем духовенством, которое могло, по своему образованию, помогать его планам: оттого выдвигаются при нем духовные лица западно-русского, киевского образования, как Стефан Яворский⁶² и Феофан⁶³. Несмотря на мирный характер духовенства, Карамзин видит, однако, возможность столкновений, но на этот случай он рекомендует несколько макиавеллические правила, которые не совсем согласны с «добродетелью», которую он обыкновенно

рекомендует государям: «*Умный* монарх в делах государственной пользы всегда найдет способ согласить волю митрополита или патриарха с волею верховною; но лучше, если сие согласие *имеет вид свободы* и внутреннего убеждения, а не верноподданнической покорности», т. е. другими словами, — сумеет втихомолку произвести то же принуждение, которое Петр предпочел сделать более откровенным образом? Это действительно и практиковалось не один раз на деле, и нельзя сказать, чтобы эта практика — которую, конечно, нельзя скрыть — содействовала к возвышению значения духовенства в глазах общества.

Свои выводы о реформе и ее следствиях Карамзин высказывает в сожалении о том, что мы, хотя во многом лучше наших предков, но с приобретением добродетелей человеческих утратили гражданские. «*Имя русского*, — говорит он, — имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его, присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а святая Русь — первое государство. Пусть назовут то *заблуждением*; но как оно *благоприятствовало любви к отечеству* и нравственной силе его! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь называем братьями; *спрашиваю (!)*: кому бы легче было покорить Россию — неверным или братьям? Т. е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться? При царе Михаиле или Феодоре вельможа российский, обязанный всем отечеству, мог ли бы с веселым сердцем на веки оставить его, чтобы в Париже, в Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы *стали* гражданами мира (!), но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною — Петр».

Здесь опять исторически ошибочно то преувеличение «многих выгод иноземных обычаев», будто бы приобретенных русскими до Петра, — на которое мы имели случай указывать, — и чрезвычайно странны рассуждения о гражданских добродетелях старины, утраченных потомками. Чтобы выставить дело ярче, Карамзин по обыкновению не постоял за преувеличениями: обвинять русских, что они стали слишком «гражданами мира», можно было разве только для смеха, потому что «гражданин мира», если уж они были, было разве пять человек, а народная масса оставалась совершенно верна взглядам древней

Руси. В следующем же году Карамзин должен был увидеть доказательства; народ считал Наполеона Антихристом, его войско — нехристями, не людьми; больше нечего было желать. В образованном меньшинстве были, правда, люди, в которых Карамзин мог справедливо находить упадок этой древнерусской добродетели, были люди, которые действительно сомневались, что «правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире» и проч., — но совершенно непонятно, что хотел сказать Карамзин и чего он хотел требовать от этих людей? Если было тогда справедливо, что «имя русского» потеряло «силу неисповедимую», какую имело в те времена, когда думали, что «правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а святая Русь — первое государство», — это просто объяснялось тем, что многие стали считать эти древние мнения *заблуждением*: неужели надо было сохранять это наивное заблуждение старины людям, которые были уже несколько образованы, знали другие примеры и могли сравнивать? Смешно было говорить, что русские заразились космополитизмом, но у людей образованных действительно являлось новое понятие о национальном достоинстве и «совершеннейшем гражданине», понятие, при котором они не могли держаться патриархальных убеждений старины и вместе не могли восхищаться настоящим порядком вещей, где «совершеннейшее гражданство» было невозможно. Весь смысл новой истории общества и состоял именно в том, что оно приобретало с увеличением образования и новые нравственно-общественные понятия и стремилось дать им место в жизни. Только такой смысл и могло иметь «просвещение», если оно имело у нас какой-нибудь смысл, и этого опять совершенно не понимал тот же писатель, который так много и с таким жаром рассуждал о просвещении.

Свои жалобы на упадок старинных гражданских добродетелей Карамзин подтверждает ссылкой на вельмож, которые столь охладели к отечеству, что спокойно читают в европейских столицах о наших государственных опасностях. Как видим, этот же пресловутый вопрос об абсентеизме⁶⁴, который еще недавно снова трактовался в нашей литературе и которого никак не могут разрешить люди мнений Карамзина и московского «Дня». Достаточно сказать, что абсентеисты, пожалуй, даже старше петровской России, потому что, собственно говоря, еще Курбский был абсентеистом, потом, говорят, еще при Годунове русские, посланные за границу в ученье, не возвратились потом в Россию, — и что причины новейшего абсентеизма достаточно ясны: для одних это было тягостное чувство от отсутствия

сколько-нибудь свободной умственной и гражданской жизни дома; для других, — и особенно для тех людей, которых разумел Карамзин, — полная гражданская испорченность, источник которой лежал в тех же домашних условиях. Эти последние были обыкновенно люди, которые, воспитавшись в аристократической сфере, никогда не имели никакого интереса к народу, избалованные крепостными богатствами, видели в русском народе только мужиков, доставлявших деньги. Полагаем, что нет надобности подробно объяснять, что виной этого явления была вовсе не реформа Петра, вовсе не то, что эти люди вместо русского кафтана надели французский кафтан, — а именно тот порядок вещей, который осыпается похвалами Карамзина и который он советует еще укрепить и усилить.

Вывод Карамзина о Петре заключается в следующих словах: «Он велик без сомнения, но еще мог бы возвеличиться гораздо более, когда бы нашел способ просветить ум россиян без вреда для их гражданских добродетелей». Мы видели отчасти, насколько можно приписывать Петру упадок русских гражданских добродетелей. Карамзин соглашается, что самая деятельность Петра была возможна только при безграничности его власти: «в необыкновенных усилиях Петровых видим всю твердость его характера и власти самодержавной: ничто не казалось ему страшным». Такая власть создана была древней Россией, такой власти и желал Карамзин для России, и можно было бы спросить: на каких же основаниях можно указывать ей образ действий? Что может удерживать ее заблуждения и излишества, если, по мнению Карамзина, она не должна иметь никаких ограничений? Карамзин отвечает вообще: «добродетель», а здесь приводит еще аргументы, вычитанные из «Общественного Договора». Сказав о том, как Петр Великий попирает народные обычаи, т. е. одежду, пищу, бороду, патриарха и т. д., Карамзин говорит: «Пусть сии обычаи естественно изменяются, но предписывать им уставы есть насилие беззаконное и для монарха самодержавного. Народ, в первоначальном завете с венценосцами, сказал им: блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, жертвуйте частью для спасения целого, — но не сказал: противоборствуйте нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни». Все это прекрасно, но кому же известно что-нибудь об этом первоначальном завете, и отчего еще, если возможен был один завет, не возможен другой?

Итак, древняя Россия была создана и возвеличена единодержавием и самодержавием. Тем же самодержавием она была преобразована при Петре. Петр был великий муж, который са-

мыми ошибками доказывает свое величие: «как хорошее, так и худое он делает на веки». Но дело его осталось неконченным, и преемники его до самой Екатерины неспособны были быть его продолжателями.

Картина XVIII-го века в «Записке» Карамзина довольно беспристрастна, хотя она опять не приводит его к правильному уразумению настоящего состояния народа и общества. В первое время после Петра «пигмеи спорили о наследии великана; аристократия, олигархия губили отечество», вследствие того, «самодержавие сделалось необходимее прежнего для охранения порядка». При Анне оно восстановилось вполне, — но дело не поправилось: «истинные друзья престола и Анны гибли; враги наушника Бирона⁶⁵ гибли; а статный конь, ему подаренный, давал право ждать милостей царских». Затем два новые заговора, Бирон и правительница Анна теряют власть и свободу, вступает на престол Елизавета. «Усыпленная нею монархия давала канцлеру Бестужеву⁶⁶ волю торговать политикою и силами государства»; только счастье спасло Россию от чрезвычайных зол, но «счастье не могло спасти государства от алчного корыстолюбия П. И. Шувалова⁶⁷». Характер правления не отличался мягкостью: «грозы самодержавия еще пугали воображение людей; осматривались, произнося имя самой кроткой Елизаветы или министра сильного; еще пытки и тайная канцелярия существовали». Потом новый заговор, и за ним падение и смерть «жалкого» Петра III⁶⁸, и воцарение Екатерины.

Мы указывали выше, какими неумеренными восхвалениями Карамзин прославлял Екатерину в своем «Похвальном Слове». Проходит несколько лет, и тот же Карамзин сам опровергает свой панегирик, потому что, хотя и здесь он преклоняется перед «истинной преемницей величия Петрова и второю образовательницей новой России», но видит и слабые стороны царствования, которых даже на его взгляд оказывается очень много. Не будем спорить о том, насколько «ею смягчилось самодержавие», действительно ли «страхи тайной канцелярии исчезли» и т. д. Для примера противоречий пришлось бы перебрать все «Похвальное Слово» и все, что говорится об Екатерине в «Записке». Довольно нескольких указаний. Так, по «Похвальному Слову» Екатерина «научила нас любить в порфире добродетель», а здесь сам же Карамзин, говоря о нравах тогдашнего двора, спрашивает: «богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственно лицо красивое?» Картина, которую он рисует теперь, ясно показывает, что внешний блеск того времени покрывал чрезвычайную внутреннюю неурядицу. Указав, в

числе «некоторых пятен» царствования Екатерины, на испорченность придворных нравов, Карамзин продолжает: «Заметим еще, что правосудие не цвело в сие время... В самых государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности: избиралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам... Екатерина дала нам суды, не образовав судей, дала правила без средств исполнения... Чужеземцы овладели у нас воспитанием*; двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало; дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием для удовлетворения прихотям, стали обыкновенные... Екатерина — великий муж в главных соображениях государственных являлась женщиною в подробностях монаршей деятельности, дремала на розах, была обманываема; не видала или не хотела видеть многих злоупотреблений...» и т. д. Несмотря на то, царствование Екатерины осталось для него идеалом, и он указывает в нем Александру образец для подражания!

Итак, Карамзин мог сам видеть, когда хотел видеть, потому что если приведенные слова и не заключают еще полного изображения тех внутренних неустройств и общественных тягостей, которых много представляло прославленное царствование, то все-таки здесь указано многое. Понятно, что все это стало ясно Карамзину не теперь только; он сам говорит, что «в последние годы ее жизни... мы более осуждали, нежели хвалили Екатерину». В описании царствования Павла Карамзин говорил всю правду, и относительно общественного настроения высказывает следующее любопытное замечание: «В сие царствование ужаса, по мнению иноземцев, россияне боялись даже и мыслить: нет, говорили и смело, умолкали единственно от скуки частого повторения, верили друг другу и не обманывались. Какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах; общее бедствие сближало сердца и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности»**. Все эти опыты, по-видимому, могли бы навести

* Карамзин ставит это в число «вредных следствий Петровой системы»; проще и вернее было бы поставить это в число вредных следствий старинного невежества, потому что потребности в образовании нельзя было удовлетворить русскими средствами, которые были еще слишком слабы.

** Карамзин говорит, что это было «действие Екатеринина человеколюбивого царствования», которое «не могло быть истреблено в четыре года Павлова» — дело достаточно объясняется чувством «общего бедствия», на которое указывает он сам.

на некоторые сомнения, или по крайней мере, если Карамзин был слишком привязан к своей системе, внушить больше осмотрительности в ее доказательствах. Но он, по обыкновению, все трудности обходит словами, и все опыты были напрасны. Увидев и испытав даже на себе недостатки правления Екатерины, он способен был потом писать самый неумеренный панегирик, старательно обделявая его риторические украшения, и после царствования Павла, описав «остервенение», неспособен был понять, что при таком ходе вещей в людях, истинно преданных отечеству, могло явиться глубокое сомнение в самой системе и искреннее желание найти какую-нибудь гарантию безопасности и спокойствия.

Карамзин говорит, что благоразумнейшие россияне сожалели, что зло вредного царствования было пресечено способом вредным. Сожаление было, конечно, справедливо. Он рассуждает далее, что подобные олигархии и поведут к безначалию, которое ужаснее самого злейшего властителя. «Кто верит Провидению, — говорит он, — да видит в злом самодержцe бич гнева небесного! Снесем его как бурю, землетрясение, язву, феномены страшные, но редкие: ибо в течение 9-ти веков имели только двух тиранов... Заговоры да устрашают народ для спокойствия государей! Да устрашают и государей для спокойствия народа!» и т. д.

Этими словами Карамзин устранял самый вопрос, поставленный в начале царствования Александра самой властью, которая, в минуту сознания своей ответственности, стала искать средства устранить возможность подобных бедствий основанием правильного законного правления. В словах Карамзина заключалась, конечно, целая политическая система. Карамзину нужно было сказать эти слова, чтобы поддерживать потом свою теорию безусловного подчинения и бесправной покорности и изображать врагами божескими и человеческими людей, которые думали бы иначе. Карамзин хочет отнять у общества самую мысль об усовершенствовании порядка вещей, под которым он живет. Это — воля Провидения! снесите ее как бурю, как землетрясение, и не помышляйте о том, чтобы мог наступить иной порядок вещей, в котором право и закон устраняли бы необходимость подвергаться землетрясениям. Мы уже видели эти ссылки на Провидение, которые обыкновенно употребляются в подобных случаях и так часто бывают или пустословием или лицемерием. Чем мог он ручаться, что оно верно истолковывает волю Провидения, что волю Провидения исполняло именно то событие, которое он указывает, а не другое? Если он в одном

случае будет указывать нам бич гнева небесного для народа (и за что?), то другие объяснят другие события как наказание для самой власти за неисполнение ее обязанностей? Тот, «кто верит Провидению», без сомнения будет принимать одинаково и то, и другое... Но понятно, что вера в Провидение должна быть представлена личному чувству каждого. Перенесенная в политическую теорию, она становится или феократической точкой зрения, вроде Боссюэта⁶⁹, или чистым фатализмом. Но общество, на известной степени развития, не может довольствоваться ни тем ни другим, как вещами уже слишком патриархальными.

Далее, за недостатком других политических принципов, Карамзин хочет только пугать и государей и народ опасностью заговоров. «Заговоры суть бедствия, — говорит он там же, — колеблющие основу государств и служащие опасным примером для будущности. Если некоторые вельможи, генералы, телохранители присвоят себе власть тайно губить монархов, или сменять их, что будет самодержавие? Игралищем олигархии, и должно скоро обратиться в безначалие...» Совершенно справедливо; но этот самый порядок вещей, обычный некогда только в византийском и турецком Константинополе, проходит через все наше XVIII-е столетие, благодаря бессилию закона и несправности общества. Поэтому именно первые либеральные стремления Александра избежать подобных колебаний установлением каких-нибудь прочных законов и возбуждением подавленного до тех пор общества и были, с одной стороны, верным пониманием исторической потребности, с другой — простым инстинктом самосохранения.

Карамзин говорит в утешение, что «мы в течение 9-ти веков имели только двух тиранов», — утешение очень простодушное или лицемерное. Он сам перед тем только называл тираническими многие меры самого Петра, которые были иногда действительно жестоки; он сам только что рассказывал об угнетении от разных властолюбивых олигархов при Екатерине I, при Анне, при Елизавете. Или, по его мнению, тиранство есть только прямое истребление людей, огнем и мечем, как бывало при Иване Грозном?..

С таким предисловием приступает он к царствованию Александра. Это часть его «Записки» есть самое решительное отрицание тех либеральных предприятий, которые наполняют первые годы царствования.

Мы видели, что эти предприятия были часто очень несостоятельны, по нерешительности самого императора и недостатку реальных сведений у него самого и его помощников. Когда про-

шло несколько времени, эти свойства дела стали обнаруживаться сами собой, и потому не особенно трудно было видеть их слабые стороны и противоречия; и Карамзин часто указывает их довольно искусно. Тем не менее, он не был прав в своей критике. Во-первых, она была ошибочно теоретически, потому что для исправления неудач предлагала полную общественную и государственную неподвижность, — и вся теория была чрезвычайно узкая и вяло-бессодержательная. Нравственно он не был прав потому, что винил Александра не только за его личные ошибки, но и за ошибки целой эпохи, целого общественного настроения, от которых не был вовсе свободен и сам критик, потому что он сам был в числе людей, которые прежде создавали кругом Александра фальшивые и вредные иллюзии.

Указав, что в начале царствования господствовали в умах два мнения: одно, желавшее ограничения самовласти, другое, хотевшее только восстановления Екатерининской системы, Карамзин присоединяется к последнему и смеется над теми, кто думал «закон поставить выше государя». Ему можно было бы напомнить, что в ту пору и сам он в своих одах Александру «пел» свободу («сколь ты, свобода, нам мила»), вызывал Александра давать уставы («свобода там, где есть уставы»), и в примере указывал самого Бога:

Его веляньям нет препоны

.....

Он может все, но свято чтит
Его ж премудрости законы⁷⁰, —

другими словами, Карамзин говорил то же самое, над чем теперь насмехался. Ему бы следовало, по крайней мере, быть умнее прежде, потому что, как теперь оказывалось по его словам, дело было совсем невероятное.

«Кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? — спрашивает он. — Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем и государством? В первом случае они угодники царя, во втором захотят спорить с ним о власти; вижу аристократию, а не монархию. Далее: что сделают сенаторы, когда монарх нарушит устав? Представят о том его величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ? Всякое доброе русское сердце содрогается от сей ужасной мысли. Две власти государственные в одной державе суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ни-

что...» Карамзин грозит, что с переменою государственного устава Россия должна погибнуть, что самодержавие необходимо для единства громадной и состоящей из разнообразных частей империи, что, наконец, монарх не имеет права законно ограничить свою власть, потому что Россия вручила его предку самодержавие нераздельное; наконец, предположив даже, что Александр предпишет власти какой-нибудь устав, то будет ли его клятва уздою для его преемников, без иных способов, невозможных или опасных для России? «Нет, — продолжает он, — оставим мудрствования ученические и скажем, что наш государь имеет только один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти: да царствует добродетельно! да приучит подданных ко благу! Тогда родятся обычаи спасительные; правила, мысли народные, которые лучше всех бранных форм удержат будущих государей в пределах законной власти; чем? *страхом* — возбудить *всеобщую ненависть* в случае противной системы царствования...»

Здесь высказаны, конечно, все возражения, какие можно было сделать против такого октроирования⁷¹ конституционных учреждений, о каком тогда думали. Эти возражения очень сильны, для тогдашних отношений они справедливо указывали если не невозможность, то чрезвычайную затруднительность предприятия. Но мнение Карамзина, отчасти верное для данной минуты, заключало в себе ту всегдашнюю ошибку фанатического консерватизма, что Карамзин решал вопрос и за будущее. В этом отношении либералы видели дальше или предчувствовали вернее. Для общества, раньше или позже, должен был наступить период, когда оно поймет необходимость преобразований и когда их все-таки пришлось бы совершить. Либералы и не думали тогда о полной конституционной реформе; они думали только о некоторых освободительных мерах, о первом возбуждении общественной деятельности, без которой, наконец, немислимо было правильное развитие и внутреннее благосостояние страны. Вопрос шел только о *приготовлении* другого лучшего порядка, и эта забота была совершенно основательна, потому что для рассудительных людей негодность старого была очевидна. Карамзин для большей убедительности опять прибегает к системе устрашения и пугает Александра двумя львами, терзающими друг друга в одной клетке. Само собою разумеется, что для политической борьбы «двух львов» в тогдашней России не было элементов и дело шло вовсе не о борьбе двух равных политических сил, а только об уничтожении безурядиц, одинаково тяжелых и для власти и для общества и против которых прави-

тельство, чувствуя себя бессильным, хотело воспользоваться и содействием общества. Средства, предложенные самим Карамзиным, были, конечно, ученическим мудрствованием: что значит — править добродетельно, приучать ко благу? Это были в данном случае ничего не значащие фразы, нравоучение, годное только для прописей: чтобы править по истине «добродетельно», надо было бы прежде всего сделать такие вещи, от которых Карамзин первый пришел бы в ужас — например, хоть освободить с хорошим наделом крестьян. И отчего монарх не мог бы быть добродетелен и при том порядке вещей, против которого Карамзин вооружался? Он тогда не посмеялся бы «десять раз» на делаемые ему представления, напротив, соглашался бы с ними, когда они справедливы, и, следовательно, дело пошло бы как нельзя лучше. В конце концов, после внушений добродетели, Карамзин находит только одно средство «удержать будущих государей в пределах законной власти» — это страх народной ненависти, конечно, с ее последствиями. Это действительно заставляет иногда государей воздерживаться от слишком жестокой тирании; но неужели для правителей нет другого побуждения оставаться в пределах благоразумия и справедливости и неужели неправы были люди, которые стремились к такому государственному порядку, где можно было бы избегать этого ужасного крайнего средства?

Решив этот первый вопрос, Карамзин переходит к рассмотрению внешней и внутренней деятельности правительства. Указав, как все «россияне» согласны были в добром мнении о качествах монарха, его ревности к общему благу и т. д., Карамзин собирает твердость духа, чтобы «сказать истину», что «Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры...» Что Россия очень могла быть наполнена недовольными, это было совершенно возможно, — но, если исключить чиновнический мир, раздраженный тогда указом об экзаменах, и дворянство, большинство которого опасалось либеральных мер правительства по крестьянскому вопросу, — это недовольство едва ли не было преувеличено Карамзиным в смысле его тенденции. По крайней мере, мы видели, что люди той же тенденции говорили эти самые вещи уже на второй и третий год царствования Александра, когда, конечно, было гораздо меньше поводов к недовольству.

Карамзин начинает с сурового осуждения внешней политики, ошибок дипломатических и военных. Он осуждает в особенности посольство графа Маркова⁷², его высокомерие в Париже

и воинственный задор некоторых лиц при дворе. По дешевому способу — осуждать вещи, не имевшие успеха, он сурово обличает действия, результат которых был неудачен, и не забывает «старого министра»⁷³, который «с тонкою улыбкою давал чувствовать, что он способствовал графу Маркову получить голубую ленту в досаду Консулу»⁷⁴. В самом деле, воинственный азарт есть одна из самых антипатичных и пошлых вещей, какими могут страдать народы и правительства; но Карамзину могли бы возразить, что в делах с Наполеоном замешивалась наконец и национальная честь, которою правительства не могут не дорожить. Кроме того, на правительстве могли отражаться и взгляды тех «добрых россиян», на которых так часто ссылается Карамзин: что же они говорили тогда и какой образ действий могло бы извлечь правительство из их суждений, если бы к ним прислушивалось? Масса «добрых россиян» была уже издавна проникнута полнейшим убеждением в непобедимости «россов» и в их превосходстве над всеми другими народами и предавалась национальному самохвальству, которое с XVIII-го века в особенности распространяла рабски льстивая литература од, похвальных слов и т. д. и которое по мере сил поощрял и сам Карамзин в своем «Вестнике Европы». В ответ на его обвинения граф Марков и «старый министр» (с такой же «тонкой улыбкой») могли бы сказать, что они в его же собственном журнале в то самое время вычитали, и имели неблагоприятное поверить, что «колосс России ужасен», что «рука его и вдали может достать и сокрушить неприятеля», что «никогда величие России не было так живо чувствуемо во всех землях», что «она может презирать обыкновенные хитрости дипломатики и т. д., и т. д.».

В разборе внутренних преобразований, Карамзин находит еще больше поводов к осуждениям. Изменять было нечего, по его словам, — стоило только восстановить Екатерининские порядки, и все было прекрасно. «Сия система правительства (Екатерининская) не уступала в благоустройстве никакой иной европейской, заключая в себе, кроме общего со всеми, некоторые особенности, сообразные с местными обстоятельствами империи». Этого и следовало держаться. Но, «вместо того, чтобы отменить единственно излишнее, прибавить нужное, одним словом исправить по основательному размышлению, советники Александровы захотели новостей в главных способах монаршего действия, оставить без внимания правило мудрых (?)⁷⁵, что всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегнуть только в необходимости: ибо одно время

дает надлежащую твердость уставам; ибо более уважаем то, что давно уважаем и все делаем лучше от привычки».

Такова была основа мнения Карамзина. Но он только что перед тем, изображая правление Екатерины, описывал (и все еще очень неполно) то жалкую, то ужасную картину внутренней неурядицы, какую создавала «сия система». Император Александр был почти юношей, когда вступал на престол, конечно, мог далеко не иметь практического знания жизни, — но он уже в то время гораздо яснее «глубокого знатока истории» понимал недостатки этой системы и больше имел сердца к тому бедственному положению вещей, которое при ней развивалось, — к угнетению народных масс, ко всеобщему грабежу, ко всеобщему неправосудию и т. д. Конечно, глубже чувствовали историческую потребность те, кто желал широкой реформы, нежели те, кто желал только починки и штопанья старого хлама. Исполнение было неудачно, потому между прочим, что и задача была трудна, — но основная мысль, выставленная советниками Александра, сделает им честь в истории. «Исправить по основательному размышлению», — но если основательное размышление и приводило к мысли, что старыми способами нельзя ничего поправить? «Правило мудрых» подлежит большому сомнению, потому что в государственном порядке всякая новость есть благо, когда она устраняет какое-нибудь застарелое зло, — а этого, по крайней мере, желали (и в некоторых отношениях достигли) советники Александра.

Переходя к частностям, Карамзин строго критикует новые учреждения Александра, напр<имер>, учреждение министерств, меры по Министерству народного просвещения, устройство милиции, предположения об освобождении крестьян, меры финансовые, проекты законодательные и т. д. Мы не будем подробно приводить его обличений, тем более, что многие из них, относящиеся к деятельности Сперанского, были уже указаны автором «Жизни Сперанского», который во многих случаях верно оценил их достоинство. Мы ограничимся общими замечаниями и теми подробностями, которые менее известны.

Карамзин считал министерства вещь вовсе ненужной и предпочитал старые коллегии*. Он ставит в великое преступление авторам нового учреждения поспешность, с какой оно было введено, и те временные практические неудобства, которые были почти неизбежны при установлении новой администра-

* См.: Жизнь Сперанского. Т. I. С. 132—144.

ции. Все новое для него дурно, все старое прекрасно: «с сенатом, с коллегиями, с генерал-прокурорами у нас шли дела и прошло *блестящее* царствование Екатерины II» (как прошло, это он только что рассказывал за несколько страниц); в коллегиях трудились «знаменитые чиновники», у них был «долговременный навык», «строгая ответственность» — в министерствах ничего этого не было. Биограф Сперанского показал уже, насколько правды было в этом восхвалении старых коллегий и действительно ли таковы были труды «знаменитых чиновников». Он заметил здесь и то противоречие, каких вообще немало в записке Карамзина и которые производят очень неприятное впечатление, заставляя предполагать в авторе или крайнюю необдуманность, или не совсем хороший выбор полемических средств. Карамзин в одном месте претендует, что правительство, создавая учреждение, не объясняло своих оснований и побуждений: «Говорят россиянам: было так, отныне будет иначе; для чего? — не сказывают» и ссылается на Петра: «Петр Великий в важных переменах государственных *давал отчет народу*: взгляните на Регламент духовный, где император открывает вам всю душу свою, все побуждения, причины и цель сего устава». Но в другом месте Карамзин с такой же смелостью утверждает, что «в самодержавии не надобно никакого одобрения для законов, кроме подписи государевой». К чему же было ссылаться на Петра, который и раскрывал свою душу именно за тем, чтобы внушить одобрение к своим законам? Немного далее Карамзин, отвергая мысль об ответственности министров, рассуждает так: «...кто их избирает? Государь. Пусть он награждает достойных своею милостию, а в противном случае удаляет недостойных *без шума, тихо и скромно*. Худой министр есть ошибка государева: должно исправлять подобные ошибки, но *скрытно*, чтоб народ *имел доверенность* (!) к личным выборам царским». Итак, опять рекомендация способа действовать «шито и крыто», в котором Карамзин, очевидно, и считал государственную мудрость. Эта система действий «под рукой», «тихо и скромно», «без шума», — система, по которой практиковали старинные и позднейшие Архаровы⁷⁶, Еропкины⁷⁷, Эртели⁷⁸ и т. п., — которую так усердно рекомендует Карамзин Александру, и для министров, и для духовенства, и для жестоких помещиков, — сама по себе достаточно характеризует его понятия о государственном управлении.

Меры по Министерству народного просвещения вызывают опять суровейшие осуждения Карамзина. Император Александр «употребил миллионы для образования университетов,

гимназий, школ; к сожалению, видим более убытка для казны, нежели выгод для отечества (!). Выписали профессоров, не приготовив учеников; между первыми много достойных людей, но мало полезных; ученики не разумеют иноземных учителей, ибо худо знают язык латинский и число их так невелико, что профессоры теряют охоту ходить в классы». «Вся беда оттого, что мы образовали свои университеты по немецким, не рассудив, что здесь иные обстоятельства». Там множество слушателей, а у нас — «у нас *нет охотников* для высших наук. Дворяне служат (!), а купцы желают знать существенно арифметику или языки иностранные для выгоды своей торговли; ...нашистряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав; наши священники образуются кое-как в семинариях и далее не идут» (?), а выгоды «ученого состояния» еще неизвестны. Карамзин думал, что следовало вместо 60-ти профессоров вызвать не больше 20-ти и только увеличить число казенных воспитанников в гимназиях, тогда «призренная бедность через 10, 15 лет произвела бы ученое состояние» (Карамзин еще в «Вестнике Европы» думал, что у нас ученых людей и воспитателей юношества следовало бы готовить из «мещанских детей»; для дворянина, очевидно, это была бы вещь унижительная!⁷⁹)... «Строить и покупать дома для университетов, заводить библиотеки, кабинеты, ученые общества, призывать знаменитых иноземных астрономов, филологов — есть пускать в глаза пыль. Чего не преподают ныне даже в Харькове и Казани?» и проч. Карамзин сильно осуждает поручение университетского хозяйства совету, осмотр училищ профессорами, жалуется на недостаток русских учителей, и, наконец, решает, что «вообще министерство так называемого (!) просвещения в России донныне дремало, не чувствуя своей важности, и как бы не ведая, что ему делать, а пробуждалось от времени до времени единственно для того, чтобы требовать денег, чинов и крестов от государя».

Вся тирада о Министерстве народного просвещения есть одно из самых жалких мест в Записке «о древней и новой России». В словах Карамзина слышится такое недоброжелательство, которое даже трудно объяснить себе и которое производит чрезвычайно тяжелое впечатление, если вспомнить, что эти слова говорились одним из первых людей тогдашней литературы и образованного общества. Основание университетов кажется ему только прискорбным убытком для казны! У него нет и мысли о том, что если бы даже были серьезные ошибки в действиях министерства, то они были бы весьма понятны и извинительны при первых опытах и особенно, когда их надо было

делать в стране, к сожалению, слишком невежественной. Вместо доброжелательного совета у Карамзина нашлись только раздражительные осуждения. Не говоря о том, что человеку, истинно любящему просвещение, не пришло бы в голову жаловаться на *такие* траты правительства, Карамзин забывает, что если бы тут и в самом деле иные траты остались на первое время непроизводительными, *этот* убыток все-таки не мог быть так велик и вреден, как другого рода убытки, к которым издавна привыкла русская казна, — убытки от всякого чиновнического грабежа и воровства, убытки вроде тех, на какие жалуется Карамзин, говоря о временах Екатерины, и т. д.; наконец, что этот убыток должен был вознаграждаться полезным действием на общество (как это и было) и тем дальнейшим развитием, какого можно было ожидать от учебных учреждений впоследствии. Он жалуется, что правительство основало университеты, но не приготовило учеников; но, во-первых, рядом с университетами основаны были приготовительные школы и гимназии, которые могли открывать путь в университет; во-вторых, правительство могло рассчитывать на прежние учебные заведения и на те Екатерининские школы, которые уже существовали и о которых с таким красноречием говорил и Карамзин в своем похвальном слове Екатерине. Если правительство не принялось тотчас же само за отыскание учеников для университетов, то в этом винить его невозможно; оно весьма естественно могло ждать, что общество отзовется сколько-нибудь на его заботы, и не нужно будет «призывать» только одну бедность, чтобы «добрые россияне» стали чему-нибудь учиться. «Дворяне служат», возражает Карамзин; но правительство и могло ожидать, что с открытием университетов, с возможностью учиться, дворяне захотят «служить» уже не такими невеждами, какими они бывали... Карамзин странным образом полагает, что университеты основаны только для того, чтобы произвести какое-то особое «ученое состояние», как будто образование должно ограничиваться одним нарочно к тому предназначенным сословием; он думает, что решил дело, сказавши, что «дворяне служат», что «нашистряпчие и судьи не имеют нужды в знании римских прав» и т. д., — что же, ни дворяне, ни судьи, ни священники не нуждаются в образовании, какое доставляли университеты?

И все это говорил тот же человек, который с чувствительностью и жаром толковал бывало о просвещении, которое должно привести людей к благополучию; и тот же человек, который при первых мерах этого министерства осыпал их самыми превеликими восхвалениями. «Я что великие твои дарования,

красноречивый Руссо!.. но признаю мечты твои мечтами, парадоксы парадоксами», — восклицает Карамзин в статье «Нечто о науках» и защищает просвещение от обвинений Руссо, между прочим, такими словами: «Так! просвещение есть *палладиум благонравия* — и когда вы, вы, которым вышняя власть поручила судьбу человеков, желаете распространить на земле *область добродетели*, то любите науки, и не думайте, чтобы они могли быть вредны; чтобы *какое-нибудь состояние* в гражданском обществе должно было *пресмыкаться в грубом невежестве* — нет! *Сие золотое солнце* сияет для всех на голубом своде, и всё живущее согревается его лучами; *сей текущий кристалл* утоляет жажду и властелина и невольника; *сей столетний дуб* обширною своею тению прохлаждает и пастуха и героя... *Цветы граций* украшают всякое состояние — просвещенный земледелец...»⁸⁰ — впрочем, довольно.

Обличение указа об экзаменах приведено и объяснено в книге барона Корфа*. Указ был через меру требователен, и не мудро было возражать на него; но и здесь Карамзин не мог обойтись без преувеличений и карикатуры. Намерение и влияние этого указа достаточно определены в «Жизни Сперанского». Карамзин справедливо говорил, что правительство, «с неудовольствием вида слабую ревность дворян в снискании ученых сведений в университетах, желало нас *принудить к тому*», — действительно желало принудить, когда увидело, как упрямо старое невежество. Указ был неудачен, но учиться он принудил, и трудно винить правительство, что оно употребило такое средство, когда даже лучшие представители образованного общества могли рассуждать о просвещении, как рассуждал Карамзин. Клину приходилось вышибать клином.

Далее, Карамзин говорит о крестьянском вопросе. Он был, как известно, решительный противник освобождения. Мы не стали бы оспаривать у него права быть человеком своего времени, делить предрассудки и заблуждения этого времени, — если бы Карамзин не давал нам права предъявлять к нему более высокие требования, чем к массе его современников, если бы сам он не говорил так много о натуре, о свободе, о просвещении, о человечестве: естественно требовать, чтобы он — в известных общественных отношениях — наконец сколько-нибудь исполнял те прекрасные отвлеченные правила, которыми его сочинения переполнены. К сожалению, из-за красивых фраз о натуре и человечестве беспрестанно выглядывает самое дюжинное крепостничество.

* Жизнь Сперанского. Т. I. С. 180—181.

Он осуждает указ, запрещавший продажу и покупку рекрут, которая сделалась в то время целым гнусным промыслом. Карамзин защищает эту торговля в интересе «небогатых владельцев», которые «лишились бы средства сбывать худых крестьян или дворовых людей с пользою для себя и для общества»; он знает о «дворянах-извергах, которые торговали крестьянами бесчеловечно», — но полагает, что довольно было бы «грозным указом» запретить такой промысел. Если действительно жаль было, что «лучшие земледельцы» теряли возможность сохранить семью наймом рекрута, — как утверждает Карамзин, — это могло быть неудобством указа; но в целом он, конечно, вызван был примерами ужасной торговли людьми, существование которой Карамзин признает и сам и которую правительство хотело прекратить окончательно. Что касается до «худых крестьян», которых надо было сбывать небогатым владельцам и число которых, по словам его, стало больше, чем прежде («крестьяне стали хуже в селениях», замечает он вообще), то поклонник «натуры», влюбленный в человечество, не подумал даже спросить себя: отчего же стали умножаться эти худые крестьяне и могут ли вообще *улучшаться* крепостные?

Это «ухудшение» крестьян было, конечно, только лишним аргументом за те освободительные меры, к которым робко приступало тогдашнее правительство. Карамзин не мог пропустить того обстоятельства, что «нынешнее правительство имело, *как уверяют*, намерение *дать господским людям свободу*», и излагает свои резоны против этого. Его теория — та же, какую выставляли и в недавнее время все крепостники, считавшие возможным только личное освобождение крестьян с вознаграждением помещика. Он начинает крепостное право с IX-го века (холопство) и утверждает, что крестьяне никогда не были владельцами земли, которая есть неотъемлемая собственность дворян; что крестьяне, происшедшие из холопов, также законная собственность дворян и не могут быть освобождены даже лично «без особенного некоторого удовлетворения помещикам»; что только вольные крестьяне, закрепленные Годуновым, могут «по справедливости» требовать прежней свободы; но так как *мы не знаем ныне*, кто из нынешних крестьян происходит от холопей, кто от вольных людей, то законодателю очень трудно было бы решить этот вопрос, если бы он не имел смелости рас-сечь Гордиева узла, то есть дать свободу всем по праву естественному и праву самодержавия. «Не вступая в дальнейший спор, скажем только, что в государственном общежитии право естественное уступает гражданскому, и что благоразумный са-

модержавец отменяет единственно те уставы, которые делаются вредными или недостаточными и могут быть заменены лучшими».

А вредным крепостного права Карамзин и не думал считать, — и напротив, рисует бедственное и опасное состояние крестьян, освобожденных *без земли*, — «которая, в чем не может быть спора, есть собственность дворянская». Крестьяне будут пьянствовать и злодействовать; помещики, которые прежде «щадили в крестьянах свою собственность» (!), не будут их щадить; крестьяне начнут ссориться между собой, и не имея прежнего «суда помещичьего, решительно безденежного», станут жертвой мздоимных исправников и «бессовестных судей» *; начнется затруднение в уплате податей и от буйства крестьян опасность для государства и т. д., и т. д. Напугав всем этим своего читателя, Карамзин кончает: «В заключение скажем доброму монарху: Государь! История не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян и есть решительное зло), — но ты будешь ответственать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных уставов».

Это «положим» также очень характеристично: Карамзину точно досадно, что приличие не позволяет ему оспаривать это мнение **.

Крепостничество Карамзина тем удивительнее, что от «глубокого знатока» истории можно было бы ждать некоторого понимания тех влияний, которые оказывало на жизнь крепостное право, как, с другой стороны, можно было бы ждать более человеческого, сочувственного взгляда на бедственное положение крепостного населения от человека, который все-таки размышлял, который хвалился нежностью сердца и страстной любовью

* Таковы, следовательно, оказывались судьи, которым не для чего было учиться в университетах.

** Карамзин еще в «Вестн<ике> Европы» высказался против освобождения; он считал возможным только ограничение власти помещиков, но оставлял за ними и владение, и право непосредственного надзора. «Многие замечания Карамзина, — говорит г. Погодин (I. 360), — остаются верными и требуют до сих пор внимания: освобожденные и наделенные землею крестьяне не могут быть предоставлены себе, особенно при неограниченном распространении кабаков, и имеют нужду в ближайшем надзоре и руководстве» (Погодин М. П. Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. СПб., 1866. Ч. 1. С. 360. — Сост.). Это постоянно утверждала газета «Весть», причем пользовалась иногда теми самыми аргументами, какие указывал Н. М. Карамзин.

к человечеству. К сожалению, здесь еще раз приходится убеждаться, что такая преувеличенная чувствительность слишком часто бывает одной фразой, и может граничить с совершенным бессердечием на деле. В словах Карамзина, при всем старании, нельзя уследить ни малейшей тени сочувствия к угнетенному классу; это только отношение барина, который считает, что дело иначе и быть не должно, который в книжке с нежностью описывает поселян, а на деле с пренебрежением говорит о «господских людях», требует от них только исполнения работы и негодует на их пьянство, буйство и т. п., и как будто не хочет верить, что действительно правительство хотело дать этим «господским людям» свободу. Конечно, он не одобряет «дворян-извергов», но это несколько не изменяет его мнения. Указывая на трудности даже личного освобождения, Карамзин замечает: «Тогда (при Годунове, который закрепил крестьян) они имели навык людей вольных, ныне имеют *навык рабов*; мне кажется, что для твердости бытия государственного *безопаснее поработать людей*, нежели дать им не вовремя свободу». Безопасность порабощения даже таких темных, забитых и беспомощных людей, как были крестьяне, показали восстания Стеньки Разина и Пугачева, показал разброд русского населения, бежавшего толпами куда только можно, — в высшем быту порабощение обессилело русское общество, в крепостном быту оно подавило народную жизнь, довело ее до страшного отупения и бессилия. «Глубокий знаток» истории не видел ничего этого; он остался чужд и тем протестам против крепостного права, которые еще за десятки лет до того времени исходили от Новикова, и потом от Радищева; в то время, когда в русском обществе снова возрождались инстинкты человеколюбия и справедливости и начинало сказываться сознание об общественном вреде крепостного права, когда даже в остзейском обществе высказывались потрясающие и глубокие обличения Меркеля⁸¹ — к сожалению, очень приложимые нередко и к русской тогдашней жизни, — Карамзин, «как историк, уважающий жизнь», предпочитал нравы доброго старого времени и строго осуждал либеральное вольнодумство, которое вообразило, что слова «любовь к человечеству» могут иметь какой-нибудь серьезный смысл.

Впрочем, в *этих* мнениях Карамзина несколько не была виновата история, изучению которой его биографы приписывают консерватизм его мнений в эпоху «Записки». Отношение Карамзина к живому народу, в котором столько было «господских людей», всегда было очень барское. Когда он переносил к нам литературную сантиментальную школу и перелагал ее на рус-

ские нравы в «Бедной Лизе» или «Фроле СиLINE», он и тогда понимал все свои возвышенные чувства только в известных пределах. В своих литературных произведениях он представлял народную жизнь в виде той же старинной пасторали и идиллии, а на жизнь настоящую смотрел с брезгливостью помещика, считавшего, что крестьяне принадлежат к другой породе. Образчиков его мнений обоего рода можно было бы привести не мало из его сочинений, где он является в своем литературном костюме, и из его писем, где мы видим его в домашнем халате: как старательно, например, разбирает он, в письмах к Дмитрию, все тонкости сантиментальной фразы, подбирает для нее чувствительные эффекты и удаляет все «низкое»; с какой простотой он понимает, с другой стороны, практические отношения. В официальных, так сказать, сочинениях он не может говорить о поселянине без нежного чувства, он желает ему всяких благ, и, например, просвещения. В указанной статье «Нечто о науках» он говорит: «Цветы граций украшают всякое состояние — просвещенный земледелец, сидя после трудов и работы на мягкой зелени, с нежною своею подругою, не позавидует счастью роскошнейшего сатрапа». Где видал Карамзин *такого* земледельца, неизвестно; но вот практический образчик того просвещения, какое устраивалось на деле для земледельца настоящего: «Мальчик фореитор⁸², — пишет он брату в 1800 году, — кажется мне мало способным к поваренному искусству. Разве не отдать ли Вуколку к хорошему повару на год? Он уже несколько времени учился... Если вам угодно, то мы поменялись бы: я доставил бы вам чрез год очень хорошего повара, а вы мне лакея. Впрочем, как вам угодно. Если прикажете, то я отдам учиться и мальчика... Между тем буду искать нанять повара... И купить хорошего повара никак нельзя; продают одних несносных пьяниц и воров».

Как же было не исполниться негодованием на либерализм, который хотел истребить такую торговлю людьми, как собаками?

О том, как приобретались поселянами — на практике — нежные подруги, можно видеть из писем Карамзина к его бурмистру: парни женились и девки выходили замуж по барскому и бурмистрову приказанию, — хотя бывали примеры, что против этих мероприятий крестьяне восставали «миром», — вероятно, не без причины*.

* Нечего говорить о том, чтобы *такое* отношение к крестьянам было у Карамзина только непременной чертой времени. Не все помещи-

Следует в «Записке» критика финансовых мер; мы не будем останавливаться на ней, по специальности вопроса*; достаточно сказать, что здесь указано несколько действительных ошибок, непрактических мер, но есть по обыкновению преувеличения, и опять недостает беспристрастия, чтобы оценить то, что было справедливого в некоторых принципах Сперанского.

Далее, одно из самых раздражительных обвинений направлено против законодательных предприятий царствования и, в частности, против работ Сперанского**. В этом отделе «Записки» есть места, где Карамзин был всего больше прав; он очень едко и справедливо смеялся над первыми работами «Комиссии законов», когда главным дельцом ее был Розенкамф⁸³, указывал слабые стороны проекта «Уложения» Сперанского, — работы, слишком поспешно и слишком в сыром виде пущенной им в ход, — но, как всегда, Карамзин не заботился о точности, когда нужно бросить лишнюю тень на вещь ему ненавистную, а то, что он выставляет взамен, далеко не серьезно, а иногда ребячески наивно.

«Какое изумление для россиян!» — восклицает он, назвав проект «Уложения» переводом Наполеонова кодекса. «Благодаря Всевышнего, мы еще не подпали железному скипетру сего завоевателя, у нас еще не Вестфалия», и пр., и вооружается против самого кодекса. «Для того ли существует Россия как сильное государство около тысячи лет, для того ли около ста лет трудятся над сочинением своего полного уложения (Карамзин разумел те различные комиссии, которые со временем Петра учреждались для составления законов), чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже шестью или семью экс-адвокатами и экс-якобинцами? Петр Великий любил иностранное, однако же не велел, без всяких дальнейших околичностей, взять, например, шведские законы и назвать их русскими, ибо ведал, что законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств...» Тысяча лет существования России, конечно,

ки бывали таковы, как описанные С. Т. Аксаковым, и Карамзину можно было бы отличаться даже от большинства, если бы оно было таково. Невольно, в контраст Карамзину, вспоминается Шишков, человек еще более старого покроя, и, однако, относившийся к своим крестьянам с замечательной, даже трогательной мягкостью.

* Эта часть записки передана также, хотя не вполне, в «Жизни Сперанского» (Т. I. С. 224—230).

** Там же. Т. I. С. 161—165.

вставлена только для украшения, потому что и за тысячу лет у нас брались целиком византийские и варяжские законы, потом брались татарские обычаи, потом, именно при Петре, шведские законы, при Екатерине собирались подражать французским модным идеям и т. д. Карамзин не хотел знать, *каковы* были труды, над которыми сто лет работали старые комиссии: между прочим, эти труды, так долго бесплодные, и усиливали ту общественную потребность в целом здоровом законодательстве, которая повела к торопливым трудам Сперанского. Высокомерное отношение к Наполеонову кодексу объясняется, конечно, только незнанием, и указание на экс-якобинцев едва ли не было предназначено внушить Александру новое понятие о характере Сперанского. Ссылка на Петра Великого мало соответствовала собственным отзывам Карамзина, который в другом месте жаловался, что Петр хотел сделать Россию Голландию; о законодательстве Петра биограф Сперанского заметил уже, что Карамзин — заведомо или неведомо — сам делал здесь ошибку, потому что некоторые законы Петра были именно целиком переведены с шведского, голландского и немецкого, как, напр<имер>, часть воинского устава, генеральный регламент, военные артикулы и др.

Взгляды самого Карамзина на законодательные предметы иногда приводят в недоумение. «Кстати ли, — говорит он, — начинать, напр<имер>, Русское уложение главою о правах гражданских, коих в истинном смысле *не было и нет* в России? У нас только политические или особенные права разных государственных состояний; у нас дворяне, купцы, мещане, земледельцы и проч., все они имеют свои особенные права, общего нет, кроме названия русских». Биограф Сперанского замечает, что «такое странное утверждение можно объяснить в критике только одним движением раздраженной страсти»⁸⁴.

Но, осуждая проект, Карамзин, тем не менее, сам признавал необходимость «систематического» кодекса, только он желал строить его не на кодексе Наполеона, а на Юстиниановых законах и на Уложениях царя Алексея Михайловича. В этом-то и был спор, и, конечно, задумывая план нового систематического кодекса не с археологическими целями, естественнее было подумать о новом европейском законодательстве, чем о византийском и том старом русском, где и Карамзин считал необходимым исправить некоторые, особенно уголовные законы, «жестокие, варварские», — да и одни ли уголовные? — которые, хотя и не исполнялись, но существовали «к стыду нашего законодательства». Этот-то стыд и почувствовали серьезно люди, которые

предпочли искать образца в Наполеоновом кодексе. Если бы это систематическое законодательство оказалось слишком трудным, Карамзин, как известно, предлагал простое собрание существующих законов, — как это же самое предлагал, в худшем случае, и Сперанский.

Указав двумя словами еще несколько ошибочных мер правительства, Карамзин приходит к такому общему заключению о положении вещей: «...Удивительно ли, что общее мнение столь не благоприятствует правительству? Не будем скрывать зла, не будем обманывать себя и государя, не будем твердить, что люди обыкновенно любят жаловаться и всегда недовольны настоящим, но сии жалобы разительны их согласием и действием на расположение умов в целом государстве».

Он предлагает затем свои собственные мнения о том, что надо было сделать для благосостояния России и в чем должна была состоять сущность правления. Главную ошибку новых законодателей он видит в «излишнем уважении форм государственной деятельности»; дела не лучше ведутся, только в местах и чиновниками другого названия. По его мнению, важны не формы, а люди: министерства и совет могут, пожалуй, существовать, и будут полезны, если только в них будут «мужи, знаменитые разумом и честью». Поэтому главный совет Карамзина — «искать людей», и не только для министерств, но в особенности на губернаторские места. Он полагает, что все пойдет отлично, и министрам можно будет «отдыхать на лаврах», если найдут 50 хороших губернаторов: они обуздают корыстолюбие чиновников, укротят жестоких господ, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохранять пользу казны и народа. Он желал, чтобы губернаторы были тем, что были при Екатерине наместники, т. е. полные хозяева края, и сожалеет, что губернаторам оставались не подчинены многие части и дела в губернии: школы, удельные имения, почта и проч.

Итак, следует только «искать людей». Карамзин не верит в силу «закона», об утверждении которого «пели сирены вокруг трона». Он стоит на том, что «в России государь есть живой закон», что «в монархе российском соединяются все власти: наше правление есть отеческое патриархальное», и главным средством власти указывает награды и в особенности наказания, ссылаясь на слова Макиавеля⁸⁵, что «страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных». Государь добрых милует, злых казнит, судит и наказывает без протокола как отец семейства. «Строгость без сомнения

неприятна для сердца чувствительного», но она необходима. В России не будет правосудия, если государь не будет «смотреть за судьями». «Спасительный страх должен иметь ветви», и пусть каждый начальник отвечает за подчиненных. «Не должно позволять, чтобы кто-нибудь в России смел торжественно (?) представлять лице недовольного... Дайте волю людям, они засыплют вас пылью. Скажите им слово на ухо, они лежат у ног ваших» (!).

Указав потом, как ошибочно правительство употребляло иногда другое средство — награды, Карамзин повторяет еще раз: «Сие искусство избирать людей и обходиться с ними есть первое для государя российского; без сего искусства тщетно будет искать народного блага в органических уставах!..»

К этим общим замечаниям Карамзин присоединяет еще некоторые частные. Он защищает интересы дворянства, к которому предполагал в Александре нерасположение. Он развивает ту известную тему, которую мы встретили даже в записке Сперанского — *point de monarchie* *, — но с той разницей, что, по мнению Сперанского, у нас еще нужно было основать и приготовить политически настоящую аристократию, а Карамзин находил, что она уже есть как следует; далее, у Сперанского аристократия должна была составить конституционный элемент, а по Карамзину, дворянство есть только привилегированный класс ближайших слуг государя, — «не отдел монаршей власти, но главное, необходимое орудие, двигающее состав государственный». Нация распределяется самым простым образом: «народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые отличиями и выгодами, уважением и достатком». Карамзин делает оговорку в пользу «превосходных дарований, возможных во всяком состоянии», но настаивает на том, чтобы государь «имел правилом возвышать сан дворянства, коего блеск можно назвать отливом царского сияния»...

Во-вторых, он советует возвысить духовенство. Он «не предлагает восстановить патриаршество», но желает, чтобы синод имел больше важности, чтобы в нем были, напр<имер>, одни архиепископы, чтобы он вместе с сенатом сходил для выслушивания новых законов, для принятия их в свое хранилище и обнародования, — «разумеется, без всякого противоречия». Кроме хороших губернаторов, надо дать России и хороших священников: «без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе».

* <вопрос> о монархии (фр.).

В заключении своем Карамзин повторяет свои мнения о вреде нововведений, о необходимости спасительной строгости, о выборе людей, о разных частных мерах, и выражает надежду на исправление ошибок и успокоение недовольства. Свою консервативную программу он еще раз совместил в такие слова: «дворянство и духовенство, сенат и синод, как хранилище законов, над всеми государь, единственный законодатель, единственный источник властей. Вот основание российской монархии, которое может быть утверждено или ослаблено правилами царствующих...»

Возвратимся еще к последнему отрывку. Слова Карамзина об излишнем уважении форм казались вообще его биографам меткой критикой преобразовательных планов Александра. И действительно, пристрастие к форме было крупным недостатком этих планов; государственные преобразования остались чисто формальными; но формы имели, однако, свое значение — и сам Александр, в свои либеральные минуты, и особенно его советники вовсе не думали ограничиваться введением одних новых форм, но хотели и тех вещей, которые изображались этими формами. Дело шло о том, чтобы изменить традиционный характер власти, и ограничить ее произвол известным участием общества в управлении, а для этого создание новых форм являлось необходимым: каким бы образом иначе могло быть достигнуто «ограничение произвола», каким образом могла обнаружиться самостоятельная деятельность и вмешательство общества? Изложенный выше план Сперанского показывает, что новые учреждения были бы не одной внешней переменной. Он мог остаться неудачным, вызвав против себя массу приверженцев патриархальной старины*, но в тех формах, которые он хотел ввести, было все-таки больше смысла, чем в мнениях Карамзина.

В самом деле, эти мнения ровно ничего не говорили. Легко сказать — «выбрать людей», но их надо было выбрать из того же испорченного общества, и что сделает самый добродетельный человек там, где все условия жизни, создавшиеся целыми десятками и сотнями лет, делали невозможной желаемую добродетель в управляемых? Мог ли бы он, напр<имер>, уничтожить хотя «мздоимных» чиновников, когда этим чиновникам с одним жалованьем, большею частью, пришлось бы нищенствовать, когда само общество совершенно понимало эту причину мздоимства, и иногда очень спокойно его выносило? Понятно, что этот общий ход дел должен был овладеть наконец и тем человеком, который предназначался исправить его. Да и он вы-

* Ср.: Жизнь Спер<анского>. Т. I. С. 143.

шел из того же общества, и сам знал все это. То же самое произошло бы и в разных других случаях, где Карамзин возлагал на 50 добродетельных губернаторов свои фантастические надежды.

Правление должно быть «отеческое», «патриархальное», — точно в самом деле для управления огромным государством годились средства, употреблявшиеся для помещичьих имений. Положим, монарх — добрых милует, злых казнит и смотрит за судьями; но как узнать тех и других, как усмотреть за судьями? Карамзин пересмотрел целое столетие, и в самые блестящие царствования, даже в царствования людей как Петр и Екатерина, он не находит исполнения своего идеала, — и не думает спросить себя: достигим ли вообще когда-нибудь этот идеал такими патриархальными путями? Далее, главнейшее средство, которое рекомендует Карамзин для достижения народного благополучия — страх, — есть, конечно, сильно обуздывающее патриархальное средство, но опять странно видеть в писателе, влюбленном в человечество, такое пристрастие к этому средству. Он забывает все общественные влечения человека, все средства, какие дает просвещение, и не заботится о воспитании в людях чувства человеческого достоинства и сознания права и справедливости: взамен всего этого он предпочитает страх, — для правителя — страх, что его возненавидят и составят против него заговор, для управляемых — что их «казнят», одним словом, предпочитает патриархальные бухарские средства.

Защита интересов дворянства у Карамзина была предисловием той дворянской теории, которая до недавнего времени сильно господствовала в известных кругах и в последние годы имела достойного представителя в газете «Весть». Полагаем, что она не нуждается в опровержении. Карамзин извлекал ее из барских преданий своего сословия, к которым прибавляет еще ребяческие ссылки на Монтескье, — ребяческие, потому что аристократия, о которой говорил Монтескье, была не совсем то, что было русское дворянство...

Советы Карамзина относительно духовенства напоминают приведенные нами выше слова его о том, как может обращаться «умный монарх» с митрополитами. Он, восстававший против форм, предлагает здесь еще худшую форму — внешнее возвеличение синода, — «разумеется, без всякого противоречия», т. е. без всякой самостоятельности: понятно, что роль такого синода могла быть одна; он должен был лишним лицемерием и обманом усилить «добродетель» правления.

Мы должны были остановиться подробнее на «Записке» Карамзина, потому что до сих пор она мало известна большинству

читателей, и между тем чрезвычайно характерна. Как план Сперанского представляет собой одну сторону тогдашних мнений, крайний вывод тогдашнего либерального движения, высказанный одним из лучших представителей молодого поколения, так «Записка» Карамзина представляет другой полюс этих мнений, оппозицию мнимо-исторического консерватизма старого общества, оппозицию, высказанную заметнейшим представителем старого поколения*. Это крайние пункты, которые дают мерку всего движения: здесь оно выразилось ярче и яснее, чем в каких-нибудь произведениях тогдашней печатной литературы и других явлениях общественной жизни.

Мы указывали выше, какое великое значение придают записке Карамзина его нынешние биографы и панегиристы. Им кажется, что здесь заключается целое откровение об истинном политическом устройстве России: юбилей Карамзина совпал с наибольшей крепостнической реакцией, и печально сказать, что он послужил одним из заявлений этой реакции. Это уже бросает некоторый свет на смысл общественных идеалов Карамзина.

Собирая наши замечания, не можем не обратиться еще к суждениям писателя, почти современного той эпохе, еще видевшего деятельность Карамзина и его самого. Отзыв Н. И. Тургенева любопытен и тем, что в нем сказывается не одно личное мнение, но отчасти и взгляды молодого либерального поколения десятых и двадцатых годов, в котором направление Карамзина — насколько оно обнаруживалось в его сочинениях и мнениях его кружка (потому что самая Записка тогда не была известна) — уже начинало возбуждать антипатию.

Сам г. Тургенев проникнут большим уважением к личному характеру Карамзина и о «Записке» думает, что в ней «нельзя не признать нескольких взглядов, достойных настоящего государственного человека». Указавши на смелость «Записки» — хотя, как увидим, она была только относительная — и очертив ее содержание, г. Тургенев высказывается о ней в следующих выражениях: **

* Конечно, эти выражения несколько условны: собственно, Карамзин был старше Сперанского только на пять лет.

** См.: *La Russie*. Т. I. С. 462—469. Приводим в главных чертах этот отзыв между прочим потому, что его еще ни разу не принимали в соображение наши критики и биографы Карамзина (которым он мог бы, однако, послужить с пользой), и след<овательно>, он еще нов для нашей литературы.

«...Что меня особенно неприятно поразило в этой записке, это то, что Карамзин иногда ставит себя как будто органом дворянства. Он забывает приличия, которые должен соблюдать всякий рассудительный и умный человек; он забывает свое собственное достоинство до того, что серьезно говорит о привилегиях (sic!), данных государями этому сословию.

Не знаю, ошибался ли я, но мне всегда казалось, что в том, что написал Карамзин о России, он хотел сказать русским: «Вы неспособны ни к какому прогрессу; довольствуйтесь быть тем, чем вас сделали ваши правители; не пробуйте никакой реформы, чтоб не наделать глупостей». Это объясняет, каким образом он мог всегда сохранить дружбу Александра. Несмотря на всю свою искренность и доброту, Александр был все-таки монарх, и притом абсолютный. Быть может, он рассердился бы, наконец, на человека, который не говорил ему всегда лести, а иногда говорил даже немного жесткие вещи, — если бы возражения Карамзина не основывались, в конце концов, на уважении к любви абсолютной власти, на каком-то поклонении перед ней. Если бы такие принципы проповедовал раб, они могли бы не понравиться Александру; но в устах человека образованного и человека честного, они приятно щекотали тайные инстинкты монарха*.

...Карамзин был человек с большим талантом и с умом просвещенным; он был одарен благородной и возвышенной душой. Но эти качества не помешали ему провозглашать необходимость и пользу абсолютизма для России. Он должен был выражаться так по убеждению, потому что был неспособен к лицемерию или лжи. Однако же, известно было, что он вовсе не был врагом форм правления, совершенно противоположных тем, какие управляют Россией; он был даже энтузиастом их. «Я республиканец в душе, — говорил он иногда, — но Россия прежде всего должна быть велика, а в том виде, как она есть, только самодержавный монарх может сохранить ее сильною и страшною». — В молодости Карамзин видел Европу; он приехал во

* В другом месте, по поводу известной Записки Карамзина о Польше (1819), г. Тургенев замечает тоже: «Правда, что хотя Карамзин — по его мнению — защищал только интересы России, в сущности он говорил в пользу императорской власти; и если подобной оппозицией можно на минуту задеть каприз самодержавного монарха, то здесь нет, однако, опасности восстановить его против себя серьезно и надолго...» (La Russie. Т. I. С. 89). Наши критики не делали такого психологического наблюдения; между тем оно очень объясняет отношение.

Францию во время террора *. Робеспьер внушал ему чуть не поклонение. Его друзья рассказывали, что при известии о смерти страшного трибуна он пролил слезы; в старости он еще говорил о нем с уважением, удивляясь его бескорыстью, серьезности и твердости его характера, и даже его скромному костюму, который, по словам его, был контрастом костюму людей этого времени».

Изучение русской истории приводило Карамзина к заключению, что все успехи и величие России были достигнуты самодержавием.

«Из этих соображений, — продолжает г. Тургенев, — происходили, по мнению Карамзина, необходимость и непогрешимость автократии не только для излечения зол русской империи, но и для сохранения ее величия. Карамзин, по-видимому, думал, что это величие было единственное, на какое только может иметь притязание русский народ. Он любил свое отечество с энтузиазмом, и его любящая и благородная душа не могла оставаться равнодушна к счастью людей; но считать *народ за ничто* и желать величия только той, конечно, привлекательной, отвлеченности, которую называют отечеством, значит не признавать естественных прав, значит слишком дешево ценить достоинство человека. Соотечественники Карамзина не могли считать лестным для себя такое верование.

Карамзину отвечали на его мнение о необходимости абсолютизма: “признайтесь, по крайней мере, что если Россия поднялась при помощи абсолютной власти, то она поднялась только на коленях”. И это рассуждение было так справедливо (замечает г. Тургенев), что его делали все рассудительные люди при чтении истории Карамзина, который делает апотеоз автократии... На все это он отвечал только, что Россия велика, сильна и что ее боятся в Европе».

Наконец, г. Тургенев в особенности не прощает Карамзину его уклонений говорить о крепостном праве. «Он легко скользит по этому предмету (т. е. в “Истории государства Российского”) всякий раз, когда он является под его пером, и если встречаются вещи, которых он положительно не может пропустить, он относит их в примечания. Он не только не осуждает роковых законов, прикрепивших русского крестьянина к земле, но, кажется, извиняет их и делает им род апологии, рисуя печальную картину нищеты, в которой находились крестьяне в то время, когда пользовались своей свободой. Действительно, в это время

* Это не совсем точно; Карамзин в эпоху террора был уже в России.

земледельцы в России, как и везде, были чрезвычайно бедны; но потом в других странах их положение улучшилось, между тем как в России мера, почти просто полицейская, прикрепившая крестьян к земле, которую они обрабатывали, произвела с течением времени настоящее рабство».

Довольно понятно, почему Александр в первую минуту был поражен «Запиской» Карамзина очень неприятно: сначала и тон, и содержание Записки могли вызывать в нем очень справедливое неудовольствие; но затем Александр помирился с Карамзиным под влиянием других ее сторон. Это последнее указано г. Тургеневым; этого не мог не заметить и биограф Сперанского, который говорит, что, «вникнув ближе в *истинный смысл* Записки, Александр простил смелую ее искренность» *. Она противоречила многим мерам и мнениям Александра, во многом была совершенно несправедлива, не раз должна была задевать его самолюбие и даже его искренние добрые побуждения, но в конце концов она льстила инстинкту власти...

Мы видели, как панегиристы Карамзина превозносят государственную мудрость «Записки»; даже те из них, которые как будто хотели относиться к ней критически, находят, что он «был вообще прав»⁸⁶. Нам кажется, напротив, что если в «Записке» и есть верные замечания о нескольких неудачных мерах тогдашнего правительства, то в целом раздражительная вражда Карамзина против каких-нибудь перемен вовсе не говорит о широте его государственных взглядов, — потому что взамен он не представил ничего лучшего, а разве еще худшее — и «вообще» он был совершенно неправ.

В Записке Карамзина и в планах Сперанского встретились два основных принципа русской внутренней жизни, один отживавший свое время, другой — только что появлявшийся. Европейское влияние, постоянно возрастающее с Петра Великого, в это время подействовало на общественные понятия. Первые признаки сознания выразились в критическом отношении к господствующему порядку вещей, и затем в желании достигнуть лучшего порядка, где общество могло бы освободиться от неограниченного владычества государства и начать более самостоятельную деятельность, в которой и должно было ждать единственных залогов общественного и национального блага в будущем. Таковы были тогда стремления еще немногих людей, которые, однако, были лучшими представителями общественно-го интереса, потому что понимали его всего яснее. Принципы,

* Жизнь Сперанского. Т. I. С. 133.

на которых утверждалось существовавшее устройство общественных отношений, были те же порядки XVI—XVII века, мало изменившиеся и от петровской реформы. Это был завещанный допетровской Россией, почти восточный абсолютизм, при котором и личность каждого и целое общество были совершенно бесправны. Европейские нравы смягчили внешность абсолютизма, но не уничтожали его сущности. Между тем в русскую жизнь с XVIII-го века проникли некоторые влияния европейской образованности; лучших людей начинало тяготить сознание личной и общественной бесправности; для успехов внутреннего развития уже чувствовалась потребность в большей доле общественной свободы. Европейское движение конца прошлого столетия отразилось в нашем образованном обществе несколькими отвлеченными понятиями, которые дали этой практически выраставшей потребности и свои теоретические основания. Правление Павла еще более разъяснило необходимость какого-нибудь преобразования существующего порядка, и в царствование Александра мы видим уже первое столкновение старых преданий и новых жизненных потребностей общества, первое столкновение между старыми порядками безграничного абсолютизма и стремлением к новым учреждениям в смысле европейской конституционной монархии. Новое направление было еще слабо; приверженцы его были немногочисленны; действия часто неудачны, но в основной мысли оно было право: будущее зависело от развития общественной самостоятельности; правительственная мудрость должна была заключаться в расширении народной образованности и в освободительных реформах.

Таков был исторический момент, который надо было понять человеку, желавшему стать судьей общества и его истории, и указывать его будущее. Для ясного, истинного государственного или философского ума это будущее и потребности общества в настоящую минуту едва ли могут казаться сомнительными — для этого уже в то время могло быть достаточно указаний исторических и философско-политических, на которые должно было наводить наблюдение русской жизни, если и оставить в стороне внушения простого чувства справедливости, — и громадная разница между Сперанским и Карамзиным, или теми направлениями, какие они собою представляли, была в том, что Сперанский довольно понимал этот исторический момент, хотя не вполне удачно для него работал, а Карамзин совершенно не понял его.

Карамзин не совсем ошибался исторически, когда утверждал, что величие России было создано одним абсолютизмом, но

(не говоря об исторических натяжках, какие он делает в защиту своего мнения) он ошибался тем, что слишком преувеличил свой исторический вывод, распространяя его не только на настоящее, но и на будущее. Настоящее уже самыми противоречиями своими указывало на необходимость видоизменить прежние порядки жизни, и это указание было понято совершенно справедливо Сперанским. Карамзин не хотел понимать этого, и в самом прошедшем он не увидел того важного обстоятельства, что старый абсолютизм достигал «величия» России слишком тяжелыми жертвами, и что оттого «величие» это было слишком односторонне и неполно. Жертвы эти состояли, со времени возникновения Московского царства, в страшном истреблении людей, в насилиях, разогнавших целые массы населения, в уничтожении земской общественной самодеятельности, в порче национального характера и в подавлении национального ума; если тяжкие жертвы людей могли быть нужны в свое время для достижения политического единства, то нравственный вред продолжал свое действие во все течение новейшей русской истории и страшно замедлил развитие русского народа в смысле цивилизации. Вследствие этого и «величие», достигнутое такими средствами, было чисто внешнее, завоевательное и военное, которое, само собою, нисколько не предполагало истинного величия, состоящего в успехах гражданской жизни, умственного развития и внутреннего благосостояния. И действительно, величие военной империи XVIII и XIX века далеко не сопровождалось равными внутренними успехами: в гражданской жизни господствовало всеобщее бесправие, — которое Карамзин ребячески старался прикрашивать патриархальными способами, — в умственном отношении господствовала крайняя отсталость и невежество, благосостояние материальное обнаруживалось азиатской роскошью аристократии и нищетой крестьянства. Если даже признать, что исторически, для укрепления государства, нужно было это внешнее завоевательное величие, то, раз оно было приобретено, для государства являлась все-таки другая внутренняя задача. Она оставалась нетронутой. Карамзин видел много недостатков русской жизни и не мог понять, что они все чаще были органически необходимым последствием системы, которую он защищал. Изучение истории не объяснило Карамзину, что патриархальный принцип, превозносимый им, отживал свое время, и как часто бывает с великими историческими принципами, из орудия успеха становился орудием застоя. «Величие», какого он достигал, становилось кажущимся; просвещеннейшие люди отделялись от национальной жизни,

в которой чувствовали себя чужими, или боролись безуспешно для ее обновления. Историческая необходимость требовала, чтобы власть, подавившая некогда земские силы народа, вновь вызвала их к жизни, когда внешнее единство и политическая сила государства были достаточно приобретены, — это была необходимость, потому что без развития этих внутренних земских, общественных сил, государству грозил застой, бессилие и упадок. Эта необходимость совпадала с внушениями истинного патриотизма и истинной образованности, и ее чувствовали, инстинктивно или сознательно, советники Александра. А «глубокий знаток» вынес из истории только один идеал — той подавленной, оупевшей жизни XVII-го века, которая была только печальной ступенью для новой России.

Таков был существенный порок мнений Карамзина и его «Записки». Понятно, что его мнения приводили к совершенно иной программе, чем предполагавшаяся программа императора Александра. Карамзин не мог не видеть внутренних неурядиц, и вину всего этого свалил на тот новый образ мыслей, какой подозревал в советниках Александра. Карамзин стоял за старое и желал только усиления абсолютизма; Александр или его советники справедливее думали, что неурядица в целом происходила скорее от его излишества и крайностей. Карамзин требовал «добродетели», Александр желал учреждений. Карамзин думал, что все хорошо, что нужно только выбрать людей; новый взгляд находил, что без новых учреждений никакие люди не помогут, потому что недостаток лежал в самых формах старой жизни, в ее крайнем бесправии, открывавшем полный простор всякому произволу. Зло Карамзин хотел лечить тем же, от чего оно произошло, — лечить продолжением той же системы, тем же произволом и той же бесправностью массы. Карамзин винил нововводителей, что они только меняют формы, не меняя сущности, но вина того же абсолютизма была в том, что преобразование не могло осуществиться; вина давно созданных абсолютизмом нравов была в том, что новые формы еще не наполнялись новой сущностью. Новые учреждения были, однако, необходимы для новой жизни: при той системе мирного преобразования «сверху», какая имелась в виду, закон сам должен был открыть пути для общественной деятельности, для выражения общественного мнения и народных желаний, — для этого именно и были нужны новые учреждения, потому что без них всякое вмешательство общества в дела правления было бы недозволительно, противозаконно, уголовно-преступно.

Свою точку зрения Карамзин защищает в «Записке» с тенденциозностью, какой не должен бы был позволять себе писатель, у которого было уже свое прошедшее. Не говорим о том, как в рассказе о «древней» России он скрашивает все, что могло противоречить его предвзятой мысли; не говорим о том, как он мог, смотря по надобности, совершенно иными красками изображать правление Екатерины в «Записке», в «Похвальном Слове», — но чрезвычайно странно читать в его «Записке» о самом царствовании императора Александра вещи прямо противоположные тому, что сам Карамзин говорил за немного лет в своих публицистических сочинениях. Он тогда безусловно восхищался всем (кроме разве предположений об освобождении крестьян — в этом вопросе он всегда себе верен); теперь он безусловно осуждает. И если сам он хотел, чтобы правительство соображалось с мнениями «добрых россиян», то кто же заставлял его тогда с таким легкомыслием предаваться необузданному панегирику, восхвалять внутренние меры правительства, преувеличивать военную политическую силу «ужасного колосса», питать национальные страсти и вводить в заблуждение правительство и «добрых россиян». Карамзин жалуется, говоря о царствовании Александра, что надежды первого времени не оправдались, но кто же столько подслащал тогда общественное мнение и усыплял его своими панегириками? Скажут: Карамзин мог переменить свои мнения; но в таком случае должен был собственный пример научить его большей терпимости, потому что и в других возможно было заблуждение, совершенно искреннее и честное, — каково, надо предполагать, было его собственное.

Вместо того Карамзин с каким-то злорадством, которого мы не можем помирить с отзывами о безупречных достоинствах его характера, обвиняет «неблагомысленных» советников Александра. Мы упоминали, какой смысл должны были получать эти обвинения при известной и тогда подозрительности и мнительности Александра. Один из панегиристов⁸⁷ Карамзина выражает мысль, что, «может быть, и ссылка Сперанского, главного творца реформ, имела некоторую связь с “Запискою”»*. Признаемся, — как мы ни мало расположены к поклонению перед Карамзиным, мы не желали бы думать, чтобы это предложение имело основания; не желали бы, чтобы и на него упал упрек за это черное пятно в царствовании Александра⁸⁸.

* Казанский юбилей. С. 101.

Что же, наконец, ставил сам Карамзин на место той системы, которую он с таким раздражением обвинял? Биограф Сперанского, разбирая одно место «Записки», замечает: «Карамзин, как человек умный и добросовестный, не мог... не видеть всех недостатков прежнего порядка дел и не желать улучшений. Но чего именно он желал, то остается, для нас по крайней мере, неразгаданным» *. И действительно, мудрено понять, каким образом могла действовать система правления, рекомендованная Карамзиным. По всему ее изображению это выходит та же система, по которой он управлял своими двумя Макателемами⁸⁹. Власть должна быть отеческая, патриархальная, монарх должен сам за всем присматривать, наказывать виновных, награждать достойных, правление должно утверждаться на добродетели и мудром избрании людей, управляемые должны повинаться и безмолвствовать — такова, собственно, программа Карамзина, которая слишком наивна, чтобы быть возможной.

Г. Тургенев, по нашему мнению, очень верно заметил, что в основании мнений Карамзина лежало невысокое мнение о русском народе, мысль, что русский народ и не способен ни к чему иному, кроме того, что сделают из него его правители. Действительно, беспристрастное наблюдение, с каким еще мало обращались к Карамзину, покажет, что у него не один раз высказывается это сухое — скажем ближе — помещичье отношение к крестьянскому народу. Мы указывали не раз, как подобные вещи легко мирились с его сладкой чувствительностью на словах; он мог по-своему любить отвлеченный народ, как любил отвлеченное отечество, но к живому народу он относился с высокомерием, поражающим крайне неприятно. В русском обществе было потом не мало людей, которые приходили к такому скептическому мнению о народе, но в их мнениях была, однако, громадная разница с мнениями Карамзина. Для тех эти недостатки народа являлись результатом несчастной истории, бедственных обстоятельств; эти люди не скрывали от себя слабых сторон народа; сомнение приводило к раздраженному недовольству, как Белинского и как многих иных, но эти люди мучительно страдали от своего сомнения, со страстью отдавались всему, в чем могли видеть залог лучшего успеха в будущем, и никогда не выделяли себя из среды этого народа, не показывали к нему того высокомерного пренебрежения, какое проходит легкой, но заметной чертой в понятиях Карамзина. Как бы ни легка была эта черта, ее присутствия было достаточно, чтобы

* Жизнь Сперанского. Т. I. С. 141.

внушить людям иного характера воззрений антипатию к писателю, каковы бы ни были его другие заслуги. И если вспомнить, что рядом с этим Карамзин защищал безусловно патриархальный абсолютизм, не желая замечать его исторического вреда, и поощрял его даже тогда, когда он сам готов был к уступкам; что он с враждебной нетерпимостью смотрел на все попытки улучшений, как будто и в самом будущем желал закрыть для нации путь к новому, более свободному, более совершенному порядку вещей, — мы поймем, почему молодое либеральное поколение десятых и двадцатых годов уже высказывалось против Карамзина... *Во всяком случае* это отношение Карамзина к народу «нуждается в оправдании», как говорил когда-то кн. Вяземский о характере фон-Визина.

Мы видели, в каком свете Карамзин выставляет роль дворянства; он настаивает на необходимости аристократии, и в самом деле как будто хочет выступить органом дворянства и его интересов. Едва ли он мог представлять себя говорящим от лица другого сословия, когда он обращался к императору Александру со словами: «требуем», «хотим», которые не раз употреблены в «Записке». Но кто же дал вам право «требовать» чего-нибудь? — можно было бы спросить его. Эта претензия есть еще одно из тех противоречий, которых мы уже не мало видели в «Записке»: по его же собственной теории «добрым россиянам» надо было только повиноваться.

После всего этого можно себе представить, что надо думать, когда тот же Карамзин называет себя республиканцем*. Таким же образом признавали себя республиканцами и другие исторические лица, представлявшие во всех своих действиях наименее республиканского. Так императрица Екатерина говорила о себе в письмах к Вольтеру. Если в те времена это была мода, то во времена Карамзина это была пустая фраза, новый образчик того самомнения и высокомерия, о котором мы говорили. Это слово, со времен классических трагедий, Телемака и Анахарсиса, совмещало тогда всякие свободные и возвышенные добродетели — слыть республиканцем, конечно, значило стоять выше «грубой толпы», которая неспособна к свободе и не

* Быть может, менее странно, что то же повторяют и новейшие его биографы, напр<имер>, «на вопрос: какому образу правления Карамзин отдавал преимущество? сочинения его дают возможность отвечать довольно положительно: *По убеждениям*, он был неизменный монархист, но *по чувству* склонялся к республике», и проч. (Галахов А. Д. История русской словесности, древней и новой. Т. II. С. 32. — *Сост.*).

может понимать возвышенности республиканского образа мыслей, и вместе с тем это было совершенно безопасно и невинно, потому что настоящего республиканства никто и не опасался, потому что никто в него серьезно не верил, — как имп<ератор> Павел не верил доносам на Карамзина. Республиканство Карамзина именно была только форма сантиментального самохвальства, потому что на деле эта фраза ничем не подтверждалась. В идеале «величия», какое представлялось ему для его собственного отечества, нет ничего, что сколько-нибудь походило бы на народную и общественную свободу. Напротив, свобода была ему ненавистна, и величие, какого он хотел, заключается в громадности государства, в наружном порядке, в перепуге соседей: «колосс России ужасен», — говорит Карамзин с самодовольством...

В воззрениях Карамзина — которые в «Записке» выразились только яснее, чем в других сочинениях, и которые, конечно, он не менее ясно высказывал в своем кружке — было, таким образом, много вещей положительно фальшивых и в его отношениях к народу, и к истории, и к настоящему. Конечно, не все в этих ложных взглядах принадлежало исключительно ему, но Карамзин, по своему литературному влиянию и общественному положению, в особенности способствовал их распространению. В конце концов действие подобных воззрений было, конечно, вредное, деморализующее. Идеал, выставляемый Карамзиным, представлял такое отсутствие живого общественного содержания, что не мог иметь другого действия. Неумеренное восхваление патриархальной власти с отеческими мерами «под рукой», «без шума» и т. п., с пренебрежением ко всем желанием привести ее в нормальные формы закона; грубое и фальшивое стремление к внешнему «величию»; смешное старание вздуть очень сомнительную роль аристократии и рядом требование безмолвного повиновения; помещичье пренебрежение к народу и т. д. — все это не могло быть полезно для внутреннего развития. Толки о «величии» создавали тот род ложного патриотизма, который из-за внешнего шума и блеска не видит внутренних бедствий отечества, в котором так сильно развивается национальное самохвальство и воинственная задорность. Карамзину принадлежит большая доля в развитии того грубого национального самообольщения, которое нанесло и еще наносит много величайшего вреда нашему общественному развитию, — и «Записка», где Карамзин всего больше высказался со стороны своих общественных взглядов, была трудом, потраченным на защиту отживавших нравов и преданий человеком, ко-

того по другим его трудам и таланту печально видеть партизаном старого общественного рабства и застоя.

Впоследствии мы скажем о впечатлении, какое произвела «История Государства Российского» (1818) на общество, и особенно на молодое поколение, теперь заметим только, что в последние годы своей жизни Карамзин пользовался полной милостью двора, и новое царствование началось для него также изъяснениями особенной благосклонности.

Смерть императора Александра опечалила его, и ему пришлось, между прочим, увидеть, чем бывает общество, живущее в том порядке вещей, который он так рекомендовал. «Можно ли читать без умиления, — пишет он в декабре 1825 г. Дмитрию, — что пишут об Александре умнейшие французы и англичане? Нам лучше безмолвствовать красноречиво. От русской фабрикации *тошнит...*»⁹⁰ Как жаль, что он не замечал этого прежде.

Есть не малые основания думать, что идеи Карамзина, воплотившиеся в «Записке», имели практическое влияние на высшие сферы нового наступавшего периода. Когда русская общественная мысль в начале нового царствования переживала трагический кризис, Карамзин со всей нетерпимостью и ожесточением, какие производила его система, внушал свои идеи людям нового периода и возбуждал в них вражду к либеральным идеям прошлого царствования и либеральным стремлениям общества*. Этими советами и внушениями он, с своей стороны, наносил свою долю зла начинавшемуся умственному и общественному движению; он рекомендовал программу застоя и реакции, и его имя дало лишний авторитет идеям этого рода, господствовавшим и в высших сферах, и в массе общества в течение последующих десятилетий. Многие из них, его поклонников, «шептавших святое имя», заняли потом важные места в разных отраслях управления и верно послужили его идеям... Система, им рекомендованная, оказалась очень применимой на практике, — в самом деле для нее не требовалось никаких нововведений, никаких усилий мысли над преобразованиями, — и довольно известно, какими плодами обнаружилось ее действие: общественная жизнь была совершенно подавлена; русская мысль, имевшая в этом периоде многих блестящих представителей, едва могла существовать под суровой опекой; сухой формализм господствовал в управлении; в массе общества процветал тот невежественно-хвастливый патриотизм, который современники называли квасным, крайнее отсутствие и боязнь

* См.: *Погодин*. Н. М. Карамзин. Т. II. С. 460.

мысли; каковы были суды и внутреннее управление, это еще очень памятно: по наружности и на бумаге все обстояло благополучно, пока не наступило тяжелое разочарование крымской войны. Едва ли кто станет спорить, что общественно-политическая система, господствовавшая в эти десятилетия, — по всем основным чертам своим, — была именно та самая, горячим адвокатом которой явился Карамзин в своей «Записке», что она применяла именно эти самые идеи. Едва ли Карамзин мог желать тех результатов, какие принесла в конце концов эта система, но они были необходимы по всей ее сущности. Эти результаты, которые шестнадцать лет тому назад испугали всё, даже мало о чем думавшее общество и возбудили в нем — правда, ненадолго — порыв к общественным улучшениям, эти результаты, раскрытые восточной войной, и дают возможность определить практический смысл идей, которых представителем был Карамзин, и характер того общественного круга, от лица которого он хотел говорить.

